Франсуа
МОРИАК

Голгофа! Сколько он об этом говорил, сколько, как ему казалось, думал, но вдруг в кромешной тьме этой сырой и зябкой ночи он обнаружил, что никогда по-настоящему не понимал, что значит нести свой крест, не испытал этого на своей шкуре. Нет, крест – это не неудачная любовь, как он внушал себе прежде, не необоримая страсть, не унижения и провалы, а реальный тяжелый деревянный брус, давящий не стертые в кровь плечи, и еще эти острые камни...

Агнец

ISBN 5-275-00703-5

Франсуа МОРИАК

МАРТЫШКА
ГАЛИГАЙ
АГНЕЦ
ПОДРОСТОК БЫЛЫХ ВРЕМЕН

СОВРЕМЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН

Франсуа
МОРИАК

МАРТЫШКА
ГАЛИГАЙ
АГНЕЦ
ПОДРОСТОК БЫЛЫХ ВРЕМЕН



Подросток былых времен
Франсуа Шарль Мориак

Аннотация
Франсуа Мориак. Подросток былых времен
ГЛАВА I
ГЛАВА II
ГЛАВА III
ГЛАВА IV
ГЛАВА V
ГЛАВА VI
ГЛАВА VII
ГЛАВА VIII
ГЛАВА IX
ГЛАВА X
ГЛАВА XI
ГЛАВА XII
ГЛАВА XIII

Аннотация

Французский писатель Франсуа Мориак — одна из самых заметных фигур в литературе XX века. Лауреат Нобелевской премии, он создал свой особый, мориаковский, тип романа. Продолжая традицию, заложенную О. де Бальзаком, Э. Золя, Мориак исследует тончайшие нюансы человеческой психологии. В центре повествования большинства его произведений — отношения внутри семьи. Жизнь постоянно испытывает героев Мориака на прочность, и мало кто из них с честью выдерживает эти испытания.

В романе "Подросток былых времён" юноша из богатой семьи пытается выбраться из пут, которыми оплели его властная мать, духовный наставник, общественное мнение... Но с каждым годом сделать это становится всё труднее. И постепенно молодой человек успокаивается и начинает сдаваться.

Франсуа Мориак
Подросток былых времен

Я пишу иначе, чем говорю, говорю иначе, чем думаю, думаю иначе, чем должен думать, и так до самых темных глубин.

Кафка

ГЛАВА I

Я не такой, как все мальчики. Будь я таким, как все мальчики, в свои семнадцать лет я бы охотился вместе с Лораном, моим старшим братом, и Дюбером, нашим управляющим, и Симоном Дюбером, его младшим сыном — «аббатом», которому полагалось бы сейчас присутствовать на вечерней службе, и его братом Прюданом Дюбером, который подбивает Симона распрощаться с кюре. Я стрелял бы из охотничьего ружья, а не рыскал в кустах, выслеживая дичь, как собака, не играл бы, изображая из себя собаку.

Да, я изображаю собаку, но в то же время раздумываю о том, что же происходит в голове у Симона. Он подоткнул полы сутаны, чтобы она не цеплялась за ветки и колючий терновник; не знаю почему, но его толстые икры, обтянутые черными шерстяными чулками, вызывают у меня неудержимый смех. Он любит охоту не меньше, чем наши собаки Диана и Стоп. Охота у него в крови, это сильнее его, хотя он отлично знает, что в этот самый час господин настоятель служит вечерню и смотрит на пустую скамью,

где следовало бы находиться Симону, но где его нет. После службы господин настоятель придет к нам поговорить об этом с мамой. Надеюсь, я успею вернуться, хотя они очень осторожны и умолкают, едва завидев меня. Я пустомеля, как говорит мама, а господин настоятель считает, что у меня дурное направление ума, так как я задаюсь вопросами, которыми он никогда не задавался и которых ему никогда никто не задавал, а тем более я. Но он знает, что я считаю его глупцом.

«Послушать тебя, так все глупцы!» — обычно упрекает меня мама. Что правда, то правда, в нашей семье умным я считаю лишь себя самого, но я знаю, что ничего не знаю, потому что меня ничему не научили. Мои учителя не могли ничему меня научить, только азам. Товарищи превосходят меня во всем, что в их глазах имеет какую-то цену. Они презирают меня и имеют все основания презирать: никаким спортом я не занимаюсь, сил у меня не больше, чем у цыпленка. Я краснею, когда они говорят о девицах, а когда они показывают друг другу фотографии, я отворачиваюсь. Однако иные из них относятся ко мне дружески, и больше чем дружески.

Они знают, что они станут делать, у них есть свое место в жизни. А я? Я даже не знаю, какой

я. Я отлично знаю, что все проповеди господина настоятеля и все, во что верит моя мать, не вяжется с тем, что существует в действительности. Я знаю, что они и понятия не имеют о праведности. Мне ненавистна их религия. И все-таки я не могу обойтись без бога. Вот это, в сущности, и отличает меня от всех прочих, а совсем не то, что я изображаю из себя собаку и рыскаю в кустах, вместо того чтобы охотиться с Лораном, Прюданом и Симоном Дюбером, и даже не умею обращаться с охотничьим ружьем. Все, что рассказывает господин настоятель, и то, как он это рассказывает, кажется мне полным идиотством, и, однако, я верю, что все это истина, решаюсь написать для самого себя: я знаю, что это истина. Словно слепой поводырь ведет меня к непреложной истине каким-то нелепым путем, бормоча свою латынь и заставляя бормотать ее все редеющие толпы верующих, а точнее, просто жалкое стадо, которое будет пастись всюду, куда его ни пригонят... Но что с того! Свет, в котором они идут, — я его вижу, вернее, свет этот уже во мне Они могут болтать все, что им угодно: ведь они и есть те невежды и идиоты, против которых ополчается мой друг

Донзак, примкнувший к «модернистам»[1]. И все-таки то, во что они верят, — истина. Вот, на мой взгляд, к чему сводится история церкви.

Зайца они затравили у самых полей Жуано. Возвращение было мучительным: семь километров по этой мрачной, но милой моему сердцу дороге, между двух стен вековых сосен. «Все тут принадлежит мадам, все, насколько хватает глаз!» — то и дело объявлял Дюбер со своей нелепой мужицкой гордостью... Ужасно даже писать об этом. Я заранее знал, что всю дорогу Симон будет шагать рядом со мной, не открывая рта. А Лоран сам вдруг превратился в ребенка. Он играл, подбрасывая ногой сосновую шишку: если доведет ее до дома, значит, выиграл.

С Симоном мы не разговариваем ни о чем. Наверное, кюре сетовал при нем на мое «дурное направление ума», и Симон восхищается тем, что в семнадцать лет я способен внушать тревогу этому ограниченному человеку, под чьим присмотром он будет находиться все время — ведь он семинарист, приехавший на каникулы.

Сейчас я исповедуюсь перед богом в своем

---

[1] Примечания: 1

Модернизм — течение в католицизме, пытающееся привести религиозные доктрины в соответствие с требованиями современной философии.

обмане: все, что делает меня опасным в глазах настоятеля и, возможно, вызывает восхищение Симона, не более как смутные отголоски речей моего друга Андре Донзака, все уши мне прожужжавшего премудростями, взятыми из «Анналов христианской философии». Он превозносит издателя этого журнала, некоего отца Лабертоньера, члена конгрегации ораторианцев[2], одно имя которого повергает нашего настоятеля в ужас. «Это „модернист“, таких еретиков на костре сжигали», — твердит он. Я презираю его за этот жестокий и тупой образ: костер! О, они всегда готовы сжечь того, кто верит с открытыми глазами.

Тем не менее я обманщик, я бью их наповал зажигательными речами Андре, выдавая их за свои собственные, и делаю вид, будто знаю то, что неизвестно им, хотя сам я такой же невежда, как они... Нет, я клевещу на себя. Как выражается

[2] Примечания: 2

Ораторианцы — учрежденное в Риме в 1558 г. общество духовных лиц, не приносивших монашеских обетов, собиравшееся в начале для совместного чтения и толкования духовных книг, но впоследствии прославившееся своими заслугами в области философии и науки.

Андре, я проник в Паскаля[3]. Я читаю Паскаля без всякого усилия, особенно «Примечания» в издании Бренсвига, которое дал мне Андре. Меня касается все, что касается Пор-Рояля[4].

А вот читал ли Паскаля Симон Дюбер, хоть он и сдал экзамены на бакалавра? Подозреваю, что ни с одним автором, упомянутым в программе, он не знакомился непосредственно, а довольствовался изложением в учебнике... Он шагает рядом со мной. От него пахнет потом, пропитавшим всю его сутану. Не то чтобы он был грязен, он чистоплотнее своей крестьянской семьи, которая и понятия не имеет, что значит мыться, и, может быть, даже чистоплотнее нас, потому что ловит рыбу у мельницы и чуть не каждый день полощется в воде. Он стучит по корням ольхи, загоняя в верши щук и налимов... Впрочем, я не собираюсь рассказывать здесь о рыбной ловле.

---

[3] Примечания: 3

Паскаль Блез (1623—1662) — французский математик, физик, религиозный философ и писатель. В своих литературных работах полемизировал с иезуитами, развивал представление о трагичности и хрупкости человека, находящегося между двумя безднами — бесконечностью и ничтожеством. Путь постижения тайн бытия и спасения человека от отчаяния видел в христианстве.

[4] Примечания: 4

Пор-Рояль-де-Шан — французский женский монастырь в долине Шеврёза, который на протяжении XVII века служил главной цитаделью янсенизма во Франции. В 1709 г. был закрыт и разрушен.

По правде говоря, меня мутит не столько от запаха Симона, сколько от его шестых пальцев — этих дрожащих отростков на каждой руке и на каждой ноге: ему приходится даже шить башмаки по мерке, и ноги кажутся одинаковыми что в длину, что в ширину — прямо как у слона! Но шестой палец на ноге мне случается видеть не так уж часто, зато от этих хрящиков без фаланг на руках меня бросает в дрожь. К тому же он и не старается их прятать, он даже откровенно радуется, что лишние мизинцы избавят его от военной службы. Но его старший брат Прюдан другого мнения: «Ты мог бы поступить в Сен-Сир[5]...» Это единственные произнесенные при мне слова, когда Прюдан выступил в роли искусителя, которую, если послушать маму и настоятеля, он играет в жизни младшего брата.

Я подумал, какой роман я мог бы написать на эту тему: Прюдан, хилый, тощий, темнолицый, с гнилыми зубами, да еще влюбленный, это я знаю наверняка, в Мари Дюрос, их соседку, дочь плотника, сестру Адольфа Дюроса, двадцатилетнего великана, похожего на Геракла из учебника греческой истории, — Прюдан в лице своего бра-

[5] Примечания: 5

Сен-Сир — французская военная школа, готовившая офицеров для пехоты и кавалерии, располагавшаяся недалеко от Парижа.

та сведет счеты с этим миром, где сам он всего лишь плесень... Не считая того, что он, как все Дюберы, умен. Его бунт доказывает это. По моему замыслу в этой придуманной истории Прюдан должен отказаться от Мари Дюрос и вручить ее Симону. Впрочем, Мари Дюрос, вероятно, смотрит на младшего брата с таким же отвращением, как на старшего, даже с большим, из-за этих его мизинцев и сутаны, словно прилипшей к телу. Но что мне об этом известно? Все это я выдумываю, хотя уверен, что это правда, потому что знаю парня, которого любит Мари Дюрос, к которому она ходит, наконец, — он друг Адольфа, ее брата-великана.

Впрочем, господин настоятель, пожалуй, прав, когда твердит, что Симона искушает не дьявол вожделения, а дьявол честолюбия. На девушек он почти не глядит. Я прекрасно понимаю, что его так вышколили, чтобы он на них не глядел. И все равно ему еще не приходилось по-настоящему бороться с искушением. Но что я об этом знаю? Я не знаю ничего ни о Симоне, ни о ком бы то ни было. Даже мама и господин настоятель подчас ставят меня в тупик.

Когда мы вернулись с охоты, Лоран отнес зайца на кухню. Я устал и растянулся на диване в

прихожей. Мама присела рядом. Она потрогала рукой мой лоб и спросила, не хочу ли я пить. Ей не терпелось поговорить. Должно быть, они заранее условились с настоятелем, о чем следует со мной говорить: ведь считается, будто Симон поверяет мне свои тайны. На самом деле этого и в помине нет. Его расположение ко мне никогда не проявляется в словах. Разделяющая нас пропасть его не смущает. Во всяком случае, он ни разу не пытался преодолеть ее.

Мама, впрочем, тоже. Она меня любит, но я ее не интересую. Ее не интересует ничто, кроме наших земель и еще чего-то, что она держит в тайне от всех, подозреваю, что ее мучат угрызения совести — об этом я могу судить: я сам терзался угрызениями совести в детстве, я от них освободился, или почти освободился, с тех пор как открыл, благодаря Донзаку, что нам вдолбили в голову, будто наше вечное спасение зависит от всяких нелепых запретов, от таблицы грехов простительных и так называемых смертных.

Господин настоятель, должно быть, возложил на маму миссию заставить меня разговориться, а я нарочно закрывал глаза, делая вид, что хочу спать. Она не стала прибегать к уловкам и прямо спросила меня, как был настроен Симон во время

охоты.

— Он только и думал, что о зайце и еще, разумеется, о том, с каким лицом встретит его завтра утром господин настоятель, когда он явится к мессе.

Мама лишь этого и ждала, она тут же выложила свои карты.

— У господина настоятеля не такие уж узкие взгляды. Он не придает ни малейшего значения тому, что Симон в девятнадцать лет предпочитает охоту вечерней службе. Воскресная вечерня не обязательна. Господин настоятель признавался, что она даже для него испытание. А что касается Симона, то совсем не это важно.

— Разумеется, не это, — сказал я. — Важно то, что Симона обрекли, возможно против его воли, на такую жизнь, для которой он не создан.

С мамой произошло то, что она называет «приступом». Она побагровела так, что мне стало за нее страшно: во что я вмешиваюсь?

— Но, мама, ты же первая об этом заговорила. А я, пожалуй, единственный, кто не вмешивается в дела Симона.

Со свойственной не только маме, а, по мнению Донзака, и всем женщинам нелогичностью она возразила, что я не прав и что долг велит мне

вмешаться.

— Так вы не верите в благодать? Вы полагаете, что богу нужна наша помощь в том споре, который идет в душе Симона и касается только его одного?

— На Симона все это время оказывают давление, о котором мы и не подозревали, тут настоящий заговор. Ты должен все знать, это очень важно: втайне от нас с первого дня каникул он часто встречается... Как бы ты думал, с кем? С мэром, да-да, с господином Дюпором, а тот франкмасон и поклялся отвратить Симона от церкви...

— Но мы же все знали, что Симон встречается с госпожой Дюпор...

— С этой сумасшедшей, да, но не с ее мужем, которого один вид сутаны приводит в бешенство. Я думала, Симон приходит в дом Дюпоров только днем, когда мэр у себя на лесопилке. Долгое время так оно и было... Госпожа Дюпор сама нас предупредила...

Госпожа Дюпор сама! Я не верил своим ушам. «Дюпоры! Мы с ними не видимся». На мамином языке это означало, что она не обменивается с ними ежегодным визитом (во время летних каникул, когда мы живем в Мальтаверне), которым могут похвастать три или четыре местные

дамы. Но это верно также и в буквальном смысле слова: Дюпоров не видят, на них не смотрят. Они вычеркнуты из нашего крохотного мирка. Попытаюсь рассказать по порядку эту историю Дюпоров и Симона. Госпожа Дюпор, как говорят, хорошенькая женщина, намного моложе своего мужа — мне-то она всегда казалась старухой, — внушала недоверие уже тем, что была не из наших мест («не известно, где он ее взял, не известно, откуда она...»); наши места — это ланды[6] Базаса. У Дюпоров была единственная дочь Тереза, родившаяся в один день с Симоном Дюбером. Мари Дюбер ходила к Дюпорам на поденную работу и брала с собой маленького Симона, который играл с Терезой, позволял ей тиранить себя и подчинялся ей, потому что сыну поденщицы полагалось подчиняться дочери мэра, но также и потому, как смеясь говорили все вокруг, что он был в нее влюблен и она в него, а нравилось ей в нем больше всего то, чего я совершенно не переносил, — этот ужасный шестой палец... Терезу в несколько дней унесла какая-то болезнь. Может

[6] Примечания: 6

Ланды — низменные песчаные равнины шириной в 100-150 км по берегам Бискайского залива во Франции, отделенные от моря полосой дюн шириной в 7-8 км и высотой до 100 м, препятствующей стоку вод; в прошлом сильно заболочены. В 19 в. дренированы и засажены приморской сосной.

быть, менингит? Родители доверились доктору Дюлаку, первому помощнику мэра, тоже радикалу и франкмасону. Это было для них страшным ударом. Госпожа Дюпор, которая раньше ходила по воскресеньям в церковь и молилась, прячась за колонной, больше там не показывалась, она отвернулась от бога. Зато каждый день в любую погоду она отправлялась на кладбище. Когда поспевали вишни, она приносила их на могилу, потому что Тереза любила вишни. Ребятишки, прибегая из школы, их съедали.

Эти странности умеряли сострадание окружающих. В довершение всего она отказалась принять маму. Это было невероятно. И вот ни один житель местечка не переступал более порога ее дома, кроме Мари Дюбер и во время каникул — Симона. От них мы узнали, что в прихожей со дня похорон лежали рассыпанные по полу цветы и ветки и что Мари Дюбер запрещено к ним прикасаться.

Симона госпожа Дюпор, если бы могла, держала бы у себя днем и ночью. Он возвращал ей Терезу, он был Терезой. Но он-то был жив, и он был мальчишкой. Его нельзя было просто поместить на стул, точно неодушевленный предмет, или пичкать целый день вареньем и бисквитами. К счастью, он до безумия любил читать.

Помню, уже позднее в какой-то игре каждый из нас должен был придумать себе девиз и в нем наименьшим количеством слов выразить то, что он считает счастьем. Симон написал сначала: «Охотиться и читать». Потом исправил: «Читать и охотиться». У госпожи Дюпор был полный комплект «Рождественского иллюстрированного альманаха», «Журнала путешествий», романы Жюль Верна, «Путешествие двух детей по Франции» и множество других чудес. Она усаживала Симона у окна и говорила: «Читай, не обращай на меня внимания».

Сначала Симона смущал неотрывно устремленный на него взгляд и позвякивание вязальных спиц, потом он привык. Каждые два-три дня, а если книга была интересная, то и каждый день он приходил после обеда и устраивался у окна в этой, должно быть, странной комнате, которую он никак не мог мне описать: крестьяне не видят того, что видим мы, — они видят то, чего мы не видим. Однажды он попросил у госпожи Дюпор разрешения унести книгу домой. Это был единственный раз, когда она на него рассердилась. Ни одна из книг, которые читала Тереза, которых касалась рука Терезы, не должна была покидать дом. Но на следующий день она сказала Симону,

что хотела бы, чтобы он читал ей вслух, пока она вяжет, а она будет платить ему по часам, как его матери.

Сейчас я думаю: уж не это ли жалованье, ослепившее Дюберов, помешало маме и господину настоятелю ощутить беспокойство, которое должны были бы им внушить ежедневные встречи двенадцатилетнего семинариста с экстравагантной особой, женой мэра-франкмасона. Правда, в те времена мэра по целым дням не бывало дома, он был поглощен своим заводом и делами муниципалитета. Кроме того, как я узнал позднее, у него были две связи: одна в Бордо и другая в Базасе.

Разумеется, госпожа Дюпор, рассорившаяся с богом после смерти Терезы, в церковь не ходила, но Симон уверял настоятеля, что она никогда не заговаривала с ним о религии. Она и в самом деле ни о чем с ним не говорила, она только смотрела, как он читает. «Первое время мне было не по себе: она так и ела меня глазами. А теперь я не обращаю внимания...» — уверял Симон. Он даже не терял аппетита, когда она приносила ему «полдник», как называл он легкую закуску — чашку какао и хлеб с маслом, — и не сводила с него глаз, пока он ел.

В октябре, когда мы все возвращались в Бордо, Симон брал с собой в семинарию заработанные им деньги на карманные расходы. Ни господину настоятелю, ни маме и в голову не приходило, что ему следовало бы от них отказаться. Меня поражало еще в детстве, что деньги для этих христиан были высшим благом, которое не отвергают, которым не жертвуют, разве лишь по особому обету, как францисканцы или трапписты[7]. Лет с двенадцати в голове у меня стала созревать некая смутная мысль, которую за прошлый и этот год помог мне окончательно осознать Донзак, а именно, что, сами того не ведая, воспитавшие нас христиане во всем поступают наперекор Евангелию, что каждую заповедь блаженства из Нагорной проповеди они превратили в проклятие: они вовсе не кроткие, они не только не праведники, но сама праведность им ненавистна.

Драма разразилась из-за сутаны, в которую обрядили Симона, едва ему исполнилось пятнадцать лет. Каким отличием была для него эта сутана! Он получил право на особое место на

[7] Примечания: 7

Трапписты — монахи очень строгого ордена, члена которого давали обет вечного молчания, питались хлебом и рисом.

хорах и право надевать стихарь во время службы. Если в местечке все по-прежнему говорили ему «ты», то посторонние, несмотря на его детское лицо, называли его «господином аббатом». Но сутана в доме мэра! Госпожа Дюпор надеялась, что Симон согласится обойтись без этой сутаны два раза в неделю. Он отказался с таким видом, словно речь шла о вечном спасении. Мари Дюбер, для которой эта сутана была свершением мечты всей ее жизни — домик при церкви, где она хозяйничала бы на кухне и в прачечной, — осмелилась одобрить отказ Симона.

И тут мама и господин настоятель заподозрили то, что я уже ясно видел, хотя мне было всего четырнадцать лет: не маленький дружок Терезы нужен теперь госпоже Дюпор, а тот Симон Дюбер, каким он стал, тот, кто внушал мне такое отвращение, с этим его резким запахом, с его крестьянским костяком и лишними мизинцами. Мы убедились, что она не могла обойтись без него, она мирилась с его отсутствием в течение учебного года, но, я думаю, все это время было для нее лишь предрождественским бдением, приуготовлением к пришествию Симона... Впрочем, нет, теперь я вспоминаю, что и мама и настоятель ни о чем не догадывались. У них открылись глаза

после того, как Симон передал настоятелю слова госпожи Дюпор: она сказала, что не она, а ее муж не выносит сутаны; она же, напротив, привыкла к ней и даже видит в том некую выгоду — залог того, что Симон всегда будет тут, рядом, и его никто у нее не отнимет...

— Никакая другая женщина? — спросил я.

— Да, конечно, — сказала мама.

— Значит, она его любит!

Этот вывод напрашивался сам собой, я сообщил его самым естественным тоном и был поражен тем эффектом, который он произвел. Правда, хоть мне и исполнилось в том году четырнадцать лет, со мной обращались так, как сейчас не обращаются даже с восьмилетними.

— Что ты выдумываешь? Пустомеля! Сам не понимаешь, о чем говоришь.

— Раз говорю — значит, понимаю.

— И тебе не стыдно? В твоем-то возрасте! Что подумает о тебе господин настоятель?

— Устами младенца порой глаголет истина, — сказал настоятель.

Он встал и забегал вокруг бильярда, бормоча про себя:

— Как мог я быть таким слепцом...

— Но, господин настоятель, разве вы могли

предположить... Госпожа Дюпор, в ее возрасте!

— Это страшный возраст, увы... Заметьте, по моему мнению, тут Симону ничто не грозит — я знаю, как он...

Он оборвал фразу, боясь, что сказал лишнее. Все, что он мог сказать о Симоне, даже хорошее, нарушало тайну исповеди.

— Да, — произнес я, — но, по словам Симона, она ест его глазами, пока он ест свой «полдник». Может быть, в один прекрасный день ей этого станет мало...

— Что это ты хочешь сказать? Да кто тебя научил?..

— Это верно, — вполголоса проговорил настоятель, — есть такие людоедки...

— И людоеды, — добавил я невинным тоном.

— Людоеды? Какие людоеды?

Они уставились на меня в тревоге: на что я намекаю? Да, без сомнения, ничего определенного я им сообщить не мог или предпочел умолчать, однако я знал, что людоеды бродят вокруг всех пятнадцатилетних мальчиков, но приближаются, лишь если чувствуют молчаливое согласие.

— Это приводит в трепет, — сказала мама. — Зачем существует зло? — добавила она в раздумье, сама не понимая, что задает единственный во-

прос, способный подорвать веру.

Постараюсь вспомнить все, что они придумали, чтобы спасти Симона от этой вампирши. Кюре попросил своего собрата из Шаранты пригласить Симона поохотиться, и тот задержал его до начала занятий. В этот год Симон вернулся в семинарию, не заезжая в Мальтаверн.

Что касается меня... Осмелюсь ли я самому себе рассказать, какую шутку сыграл я с настоятелем? Да, это необходимо, чтобы ясно представить себе, кто же я такой на самом деле. Седьмого сентября, в канун Рождества Богоматери, мама без лишних слов объявила мне, что господин настоятель ждет меня в три часа к исповеди: «Ты тогда успеешь пройти до всех этих дам». Подобное вторжение в религиозную жизнь четырнадцатилетнего мальчика казалось ей совершенно нормальным. Я был для нее ребенком, за которого она считала себя ответственной перед богом. Злой, раздраженный (но не взбешенный, как это было бы сейчас), я все же понимал эту совестливую христианку, передавшую мне по наследству свою больную совесть, от которой я не вполне излечился и в семнадцать лет. Должно быть, ее все еще мучило то, что я посмел сказать о людоедах: во время покаяния я выложу все до конца. Разумеется, для нее и речи

быть не могло, чтобы нарушить тайну исповеди: мама не стремилась «знать». Для успокоения ей достаточно было снова «прибрать к рукам» своего мальчика, который вступал в опасный возраст. Я взбунтовался: после конкордата[8] день Рождества Богоматери не был уже обязательным праздником.

— В нашей семье, — возразила мама, — он остался обязательным. Мы всегда соблюдали его. Наши фермеры не пашут на волах в этот день. К тому же господин настоятель ждет тебя. И говорить об этом больше нечего.

— Но ты же не заставляешь Лорана...

— Лорану восемнадцать лет. Ты еще ребенок, и я отвечаю за тебя.

Сам дьявол подсказал мне эти слова:

— Если я дурно исповедуюсь, у меня будет дурное причастие. И оба греха лягут на тебя.

Она побледнела, вернее, щеки ее приобрели землистый оттенок. Я бросился ей на шею:

— Нет-нет, я пошутил, я буду и исповедоваться и причащаться...

---

[8] Примечания: 8

Конкордат — договор между римским папой как главой католической церкви и каким-либо государством, регулирующий правовое положение католической церкви в данном государстве и его отношения с папским престолом.

Она прижала меня к груди.

По дороге в церковь злость охватила меня с новой силой, но теперь она целиком обратилась против ни в чем не повинного настоятеля. Я силился побороть ее, мне ни к чему была дурная исповедь... «Ну что ж, — подумал я, — ладно, скажу ему все и даже больше, чем он пожелает, больше, чем ему когда-либо приходилось об этом слышать».

Он читал требник, сидя около исповедальни. Он еще некоторое время продолжал читать, потом спросил, готов ли я, вошел в свою каморку и снял с гвоздя епитрахиль. Я услышал, как открылось окошечко, и увидел его огромное ухо. Сообщив, что не исповедовался с 15 августа, я отбарабанил *Confiteor*[9] и выложил *recto tono*[10] свой обычный малый набор, который не менялся со времен первой исповеди: «Грешен в чревоугодии, лжи, непослушании, лени, плохо молился, плохо слушал мессу, повинен в гордыне, злословии...»

И это все? У него был разочарованный вид. Да, думаю, что все.

---

[9] Примечания: 9
Молитва перед исповедью *(лат.).*

[10] Примечания: 10
Напрямик (лат.).

— Ты уверен, что тебя ничто больше не тревожит? Может быть, какие-нибудь мысли...

Я спросил:

— Какие мысли?

Он не настаивал: не очень-то он доверял мне, этому маленькому чудовищу, но вполне вероятно, что я мог быть и чудовищем невинности.

— Всегда ли ты исповедовался искренне?

Вот тут дьявол обуял меня и подсказал мне ответ:

— Нет, отец мой.

— Как? Надеюсь, ничего важного ты не утаил?

— Не знаю. Может быть, это и есть самое важное.

— Бедное мое дитя! Твоя мать, твои наставники, сам я, все мы всячески остерегали тебя против малейшего отклонения от святой добродетели...

Так он именовал целомудрие. Я возразил, что в этом пункте ни в чем серьезном упрекнуть себя не могу. В то время это была чистая правда. Каким невинным мальчиком был я всего три года назад...

— Однако ты сказал, что речь идет о самом важном... Что же это значит?

— Важно это или нет, судить вам. Так вот, я — идолопоклонник.

— Идолопоклонник? Да что ты болтаешь?

— Я не могу сказать, что в буквальном смысле поклоняюсь идолам. Я исповедую тайный культ. Знаете большой дуб в парке?

— Ну, не такой уж он большой, — заметил кюре, видимо желая вернуть меня на твердую почву, в наш надежный мир, где все можно измерить и взвесить.

— Для меня он — бог, да, с сознательного возраста я всегда считал его богом и поклонялся ему.

— Вот оно что! Ты поэт, известное дело (он произносил «*пуэт*»). Тут нет ничего плохого.

— Я так и знал, отец мой, что вы мне не поверите. Это и мешало мне до сегодняшнего дня исповедаться в своем грехе: я боялся, что никто мне не поверит, даже вы. Но поймите, я придумал богослужение в честь большого дуба, я приношу ему жертвы...

— Полно, полно! Это вполне дозволенная пуэзия, дурачок. Чего ты добиваешься? Уж не думаешь ли ты посмеяться надо мной? Тогда это было бы большим грехом: над богом не смеются.

— Я не смеюсь над вами, просто я понимаю, что вы не в силах мне поверить.

— Все пуэты, и христианские тоже, поклоняются природе — это дозволено.

— То, что делаю я, не имеет ничего общего с излияниями Ламартина или Гюго. Уверяю вас, все деревья для меня живые, все они божества, особенно сосны в парке. Я предпочитаю их людям, — добавил я, с наслаждением отдаваясь во власть рассчитанного и в то же время искреннего вдохновения.

Да, люди уже и тогда внушали мне страх, даже те будущие люди, с которыми я имел дело в коллеже. Правда, наших религиозных наставников, даже самых плохих, я не боялся, потому что их держали в узде благочестие и суровые правила. Но мои соученики! Эти уже были способны на все! Помню, я все перемены просиживал в уборной, умирая от страха при одной мысли о мяче, летящем мне прямо в лицо...

— Полно, Ален, вернемся к серьезным вещам.

— Почему, — воскликнул я в тоске, не притворной, но все же сознательно вызванной и даже не лишенной самолюбования, — почему отказываете вы мне в прощении, не желая принять мои признания всерьез?

Кюре привычным движением разминал свое лицо, словно вылепленное из глины. Внезапно он спросил меня:

— Ты поклоняешься всем деревьям или только

большому дубу?

— Нет, все они, разумеется, живые существа, но только большой дуб — бог.

— Что ж, это было тебе дано в откровении?

Я видел, как он качает своей большой головой. Постучать себя пальцем по лбу он не решился.

— Нет, у меня не было никакого откровения. С тех пор как я себя помню, я поклонялся земле, деревьям...

— Но не животным? И то хорошо.

— Нет, не животным... Хотя нет! Я в самом деле забыл, — сказал я, — но теперь все вдруг вспомнилось. Вы знаете, отец мой, заброшенную ферму?

— В Силе? Да.

— Когда мне было семь или восемь лет, не знаю уж, кто или что навело меня на мысль, будто в заброшенной ферме живет наша ослица Гризета, которая к тому времени давно околела от старости. Я твердо в это уверовал и убедил также Лорана, хотя он старше меня. Мы ходили к заброшенной ферме и перед запертыми на замок воротами распевали какое-то дурацкое славословие: «Гризета, милая моя, мы поздравляем все, любя, с веселым праздником тебя, мы принесем тебе овес и засахаренный абрикос...»

— Засахаренный абрикос? Ослице?

Кюре притворно расхохотался, он пытался вернуть все на свое место.

— Это оттого, что в семь лет для меня не было ничего лучше засахаренных абрикосов, но Гризете я поклонялся буквально. Я вдруг понял, отец мой, что я действительно совершал грех идолослужения, в котором язычники упрекали первых христиан: ведь они обвиняли их в поклонении ослиной голове.

Я замолчал, и в самом деле подавленный этим неожиданным открытием. Кюре тоже молчал, быть может колеблясь, не выгнать ли меня из исповедальни за то, что я над ним насмехаюсь. Но кто знает? Насмехался ли я? Он отлично знал, что я совестливое дитя, страдающее той же болезнью, что и моя мать. Вдруг он спросил меня громко и почти торжественно:

— Ален, веришь ли ты в бога?

— О да, отец мой!

— Веришь ли ты, что Иисус есть Христос, сын бога живого, отдавший свою жизнь за тебя и воскресший из мертвых?

Я верил в это всем сердцем, всей душой.

— Любишь ли ты Пресвятую Деву?

— Да, люблю...

— Тогда не думай больше об этих глупостях.

Если ты согрешил, я отпускаю тебе грехи твои, вернее, сам господь бог тебе их отпускает.

Он направился в ризницу быстрыми шагами, словно спасался бегством. Я едва успел прочитать покаянную молитву и снова очутился на улице, в оцепенелом покое сентябрьского дня. Теплый ветер был подобен дуновению, как привыкли писать поэты, но в тот день штамп был правдой: дуновение, вздох живого существа... Я думал посмеяться над настоятелем, но неожиданно для меня самого эта шутка не то чтобы принесла мне облегчение, но напомнила о той любви, что всегда была мне убежищем. О поклонении, которое никогда не посягало на иную любовь, на иное поклонение — христианскому богу, а вместе с ним хлебу и вину, рожденным землей, солнцем и дождем. Это двойное убежище отнюдь не лишнее. Никогда никакое убежище не будет лишним для защиты от людей. Сейчас, спустя три года, моя тоска возрастает день ото дня по мере приближения к тому, что кажется мне самым ужасным из всех ужасов: жизни в казарме, солдатской артели. Я не поверял это никому, даже Донзаку. Я не стыжусь своей тоски, я знаю, в ней нет ничего бесчестного, но не следует материализовывать ее, выражая словами, не то она обернется трусо-

стью; иногда я думаю, что последний мой шанс — умереть до призыва в армию.

Размышляя обо всем этом на обратном пути, я в то же время вспоминал, как вел себя настоятель перед расставленной ловушкой. Он занимал одно из первых мест в списке католиков-болванов, который мы с Донзаком составили параллельно со списком умных католиков, и вот я восхищался, что он вышел из положения с тактом, не свойственным ему в повседневной жизни, словно по мгновенному наитию. Да, так оно и было, теперь я в этом не сомневался. В глубине души я не так уж был уверен в своей невинности по части греха идолопоклонства; исповедуясь, я постепенно в него поверил. Если б не это, я не почувствовал бы облегчения совести и моя радость не выразилась бы, как всегда, в сумасшедшей беготне по парку, в которую я вовлек и Лорана. В беге, несмотря на то что я моложе на четыре года, я почти всегда побеждаю, потому что он задыхается.

Как я причащался на следующий день, не помню. Причастия запоминаешь не больше, чем сновидения. Однако день восьмого сентября сохранился в моей памяти, хотя прошло три года. Я отказался пойти с Лораном охотиться на жаворонков в поля Жуано. Чувство, охватившее меня

с необычайной силой, я помню ясно, потому что постоянно испытываю его и сейчас — желание остаться одному, бродить по лесам, по полям, шагать до полного изнеможения по песчаным дорогам, где немыслимо встретить никого, кроме бредущего впереди своих волов фермера, который, прикоснувшись к берету, скажет мне «*aduchats!*»[11], или пастуха с его стадом. В этих безликих ландах никому до меня нет дела. И все же у меня была своя цель. Во время этих прогулок я обычно не без колебаний выбирал одно из четырех направлений: истоки Юра, Большая сосна (исполинское дерево, привлекавшее любопытных со всей округи), дом барышень в Жуано и старик из Лассю; на этот раз я выбрал старика, может быть потому, что ему уже перевалило за восемьдесят и он мог вскоре навсегда покинуть Лассю, где он сиднем сидел всю жизнь. Он не охотился уже много лет, разве что на вяхирей в октябре. Чем заполнял он свои дни? У него был совершенно озадаченный вид, когда он узнал от меня как-то, что есть на свете такие сумасшедшие, которые покупают книги. К себе он не пускал никого, кроме доктора. Кюре заполучит

---

[11] Примечания: 11
Приветствие на местной наречии.

его мертвым, говорил он, а живым — никогда. Что касается наследников (он состоял в родстве со всеми богатыми помещиками и с нами тоже, но в очень дальнем), он спускал собак на каждого, кто осмеливался подойти к дому. Зная, что он ненавидит их всех одинаково, они все вместе потешались над этим. Единственная надежда у них была на его ужас перед смертью, который, если верить нотариусу, не позволял старику из Лассю составить завещание. Но Сегонда, которая за ним ходила после того, как спала с ним больше сорока лет, по-видимому, позаботилась, чтобы все было сделано. Она-то наверняка и унаследует его восемьсот гектаров, или, вернее, унаследует ее сын Казимир: ведь она в полном подчинении у этого скота, который никогда ничего не желал делать, только охотился на вяхирей в октябре для старика из Лассю. Остальное время года он что-то мастерил, если не бывал пьян, носил воду из колодца, пилил дрова. Мне было все равно, увижу я его или нет. Он, пожалуй, ближе к неодушевленному миру, чем к живым существам, так же как Большая сосна, как сам старик из Лассю. В них нет ничего человеческого в грозном значении этого слова. Они настолько скоты, что не принадлежат к тому роду, которого я боялся, от которого мне

не терпелось уйти.

Я шел и шел. Папоротник, еще не тронутый осенним увяданием, в то лето почти достигал моего роста, я сильно вырос только на следующий год. Папоротник был моим врагом, мне с детства внушали, что он содержит синильную кислоту. Я сбивал палкой самые надменные верхушки, а то и врубался в густые заросли и вдыхал аромат ядовитого сока, словно запах пролитой мной крови.

Когда я проходил мимо Силе, заброшенной фермы, где некогда поклонялся Гризете, я услышал топот копыт и едва успел отскочить в сторону: мадемуазель Мартино проскакала мимо, не заметив меня или, скорее, не удостоив меня заметить, сидя верхом, как Жанна д'Арк: ее золотистые кудри развевались по ветру, словно живые, да, словно живые змеи извивались вокруг ее головы Может быть, она опасалась, что я с ней не раскланяюсь. Хотя мы были родней, а Мартино состояли в свойстве со «всем, что есть лучшего в ландах», как говорила мама, мы их не замечали, они нас тоже. Не одно поколение нашего рода было в ссоре с Мартино. Еще наши деды не разговаривали друг с другом. Но мадемуазель Мартино подвергалась особому остракизму — в те времена (сейчас я осведомлен лучше) я все сводил к тому, что она

вопреки приличиям ездила верхом в мужском седле; к тому же она трудилась, была лектрисой, компаньонкой в Базасе у баронессы де Гот, особы не нашего круга, принадлежавшей, как говорила мама, к другой среде, а с ней никакие отношения были немыслимы, ее частная жизнь даже не подвергалась, подобно жизни людей нашего круга, маминому безапелляционному суждению: ведь не будем мы обсуждать нравы муравьев, или енотов-полоскунов, или барсуков. «Это баронесса де Гот... — начинала мама. — Говорят, будто... впрочем, нет ты не поймешь!»

Я видел мадемуазель Мартино только верхом: она словно приросла к своему коню, как мои оловянные солдатики. Поскольку она жила в Базасе, ее нельзя было встретить во время мессы или чьих-нибудь похорон...

Дом старика был отделен от фермы изгородью; вокруг дома росли посаженные Сегондой чахлые георгины При моем приближении стали рваться на цепи собаки и сразу же на пороге возникла Сегонда. Старик закричал из дома: «*Quezaco?*» — «Кто там?» Она взглянула из-под руки и, узнав меня, крикнула в полуоткрытую дверь: «*Lou Tchikoi de lou Prat!*» — «Малыш из Лу-Прата!» — так звал меня старик из Лассю. Дело в том, что лес,

где мой дед построил себе дом, назывался Лу-Прат и сохранял это название еще до недавних дней, когда мы с Лораном перекрестили его из-за того, что фамилия одного жирного и дураковатого мальчишки, учившегося с нами в коллеже, была Лупрат. А я настоял на названии «Мальтаверн», по заглавию пленившей меня повести в одном из «Рождественских альманахов» за 90-е годы. Но старик из Лассю знать ничего не знал, кроме «Лу-Прата».

Черный старушечий платок прикрывал волосы Сегонды. Губы были втянуты в беззубый провал рта. Появился старик, весь взъерошенный, в застиранной рваной фуфайке и в шерстяных носках, несмотря на жару. Он притворялся, будто не помнит своего возраста, но когда-то он дрался на стороне версальцев: для него Париж навсегда остался гнездом коммунаров. Он не рассказывал об этом никому, только Лорану и мне — ведь мы не принадлежали к ненавистной банде наследников, — главным образом мне, я ему нравился, я это прекрасно чувствовал, так же как нравлюсь Симону Дюберу, как нравился аббату Грилло, который всегда выводил мне на экзаменах средний балл, даже когда я заваливался.

— Он все растет! Растет! Придется положить

ему на голову камень потяжелее.

Затем последовала перебранка между стариком и Сегондой. Я не говорю на местном наречии, но все понимаю. Старик велел ей принести бутылочку пива. Сегонда уставилась на меня, словно настороженная наседка, и заворчала, что он и так много пива выпил, «недолго и живот застудить». Мало ли что я не наследник, а там кто меня знает? Ей пришлось все-таки уступить, и она поставила бутылку и стаканы на ржавый садовый столик. Увидев, что она все торчит рядом с нами, старик прикрикнул: «*A L'oustaou!*» — «Домой!» Она повиновалась, но, конечно, подслушивает в кухне, прячась за приоткрытыми ставнями.

Мы со стариком чокнулись. Он разглядывал меня из глубины своих восьмидесяти лет, ничуть не тяготясь наступившим долгим молчанием... Быть может, с какой-то смутной тоской? Впрочем, нет, слово «тоска» не подходит этому старому вепрю, ведь для него восемьдесят лет прошли как один бесконечно долгий день; ружье под рукой, бутылка медока[12] на столе — единственный зримый признак его богатства, а выглядел он таким же грязным, таким же невежественным,

---

[12] Примечания: 12
Медок — красное бордоское вино.

как самый невежественный, самый грязный из его арендаторов, боявшихся его пуще огня. И все-таки это была именно тоска, ее выдали первые же его слова:

— Я ездил в Бордо в девяносто третьем году, жил три дня в гостинице «Монтре». Там была ванная...

— И вы ею пользовались?

— Чтобы заразиться! Э!

Он замолчал, и вдруг опять:

— А обедал напротив, в «Жареном каплуне». Ну и вина там...

Он снова помолчал, потом захихикал. Я отвел глаза, чтобы не видеть двух гнилых пеньков, торчавших у него на месте передних зубов. Он спросил меня:

— Знаешь «Замок Тромпетт»?

— Но, господин Дюпюи, его снесли больше ста лет назад!

— В девяносто третьем году его еще, видать, не снесли, раз я туда ходил. — Он все смеялся. Его «Замок Тромпетт» был борделем, о котором шушукались по уголкам во дворе коллежа «грязные типы». — Недешево это обходится... Это еще не для тебя.

В ту минуту я уверился, что бессмертие уго-

товано очень малому числу избранных душ, а для остальных адом будет небытие. Впрочем, господь обещал бессмертие лишь немногим: «И в грядущих веках вечная жизнь». Или еще: «Тот, кто вкусит от хлеба сего, не умрет». Но остальные умрут. Несомненно, это была одна из тех «вспышек интуиции», которыми восхищался Андре Донзак, он утверждал, что это особый дар, восполнявший недостаток у меня философского мышления. Я написал ему в тот же вечер, надеясь ослепить его своим открытием относительно бессмертия избранных, но с обратной почтой получил письмо, в котором он высмеял эту абсурдную мысль: «*Все души бессмертны, либо не бессмертна ни одна из них*». Но в этот момент я с наслаждением повторял про себя, что не останется ничего от старика из Лассю, ничего от Сегонды, ничего от Казимира, ни вот столечко, чтобы поддержать хоть крохотный язычок неугасимого пламени.

— Ты еще не вошел в возраст...

Он, должно быть, испытывал смутное раскаяние, что заговорил со мной о «Замке Тромпетт», так как резко переменил тему и стал расспрашивать, что болтают о нем в местечке.

— Только и разговоров, подписали вы бумагу

или нет...

Я заговорил шепотом из-за Сегонды, которая наверняка подслушивала.

— Только и разговоров, скоро ли Сегонда и Казимир отхватят кусок, а может, уже отхватили...

Я коснулся запретной темы. Старик посмотрел на меня сердито:

— А ты сам что думаешь?

— О! На месте ваших наследников я спал бы спокойно.

— Почему так уж спокойно?

Я знал, что надо было ответить старику, чтобы вывести его из себя.

— Лучше мне помолчать: Сегонда подслушивает.

— Ты же прекрасно знаешь — она глухая.

— Она все слышит, когда хочет, вы сами мне говорили.

Он настаивал. Я чувствовал, что он обеспокоен, встревожен. Донзак говорит, что я возмутитель спокойствия в полном смысле этого слова. Правда, не всегда. Но в тот день, пожалуй, так и было.

— Не может быть, чтобы такой проницательный человек, как вы, господин Дюпюи, не понимал, что, пока бумага не подписана, Сегонда и Казимир заинтересованы в том, чтобы вы не

умирали.

Он проворчал:

— Не говори об этом!

— Но речь идет именно об этом, и ни о чем другом. А в тот день, когда вы подпишете, наоборот: в их интересах будет...

Он прервал меня стоном, похожим на лай.

— Сказано — не говори об этом.

Он встал, сделал несколько шагов, волоча подагрическую ногу. Обернулся и крикнул:

— *Bey-t'en*! Убирайся!

— Я не хотел вас оскорбить, господин Дюпюи.

— Да это же не убийцы: они ко мне привязаны.

Я покачал головой и засмеялся, подражая его хихиканью.

— Еще бы, пиявки всегда привязаны к хозяину, а эти вдобавок слишком трусливы, чтобы стать убийцами. Они отлично понимают, что, раз вы подписали бумагу, их первых заподозрят, если ваша кончина породит какие-то сомнения, и что ваши наследники будут вести расследование беспощадно. Тем не менее...

Я вышел за ограду; старик стоял среди георгинов, потрясенный тем, что я заговорил с ним о его кончине, может быть, еще больше, чем мыслью о грозящем ему убийстве. «Что? Что?»

— бормотал он. На его лице проступила болезненная бледность. Казалось, он вот-вот умрет на месте. Пожалуй, его убийцей мог стать я сам. Но я об этом не думал. Я наносил удары, словно в исступлении.

— ...Тем не менее, господин Дюпюи, неужели вам это не приходило в голову? В таком уединенном месте, как Лассю, где нечего бояться свидетелей, согласитесь, совсем нетрудно убрать с дороги, не подвергая себя никакому риску...

— *Bey-t'en*!

— Вот не знаю, — продолжал я задумчиво, как бы рассуждая сам с собой, — удастся ли обнаружить при вскрытии, что человека удушили, придавив периной? А еще можно вызвать крупозное воспаление легких, если привязать старика голым к кровати зимой на всю ночь перед открытым окном, конечно, если на улице ниже нуля! Но тут я тоже не знаю, как при вскрытии...

— Убирайся, не то я позову Казимира.

Я видел, что Казимир вышел из ворот фермы. Я пустился наутек, даже не обернувшись, чтобы бросить прощальный взгляд на Лассю, куда мне теперь пути заказаны, покуда жив старик...

Ну ладно! Все это неправда. Эту историю я сам себе рассказал. Все ложь, начиная с того, что

старик сказал мне про «Замок Тромпетт». Прямо настоящий роман! Хорош он? Или плох? Во всяком случае, все здесь ложь, все отдает ложью. Я и двух слов не произнес бы — старик вколотил бы мне их обратно в глотку. Впрочем, я никогда не совершил бы смертного греха, обвинив в убийстве или покушении на убийство Казимира и Сегонду, которые и в самом деле привязаны к своему старому мучителю. Есть еще и другой вариант этой истории, которую я сам себе рассказываю: старик неожиданно решает, что его наследником буду я. Я придумываю, на что употребить эти деньги: Лассю я превращу в библиотеку, мы будем там хранить все свои книги, Донзак и я. Отгородимся от мира живых горами книг и музыкой тоже — там будет пианино для Андре, а то и орган, почему бы и нет?

Может, я сочинял эту историю на обратном пути? Не помню. Помню только, что я был умиротворен и счастлив, как бывает почти всегда, когда я причащаюсь поутру. Я размышлял о том, что годы моего отрочества протекают в мире чудовищ, или, вернее, карикатур на чудовища, одни из них любят меня, другие боятся. Ни одна девушка еще не обратила на меня внимания, как это бывает в романах, хотя в коллеже счита-

ется, что у меня «смазливое личико»; правда, я тощий и у меня нет мускулов. Андре говорит, что девчонки не любят слишком тощих мальчишек. Единственную девушку, которой я восхищаюсь, я вижу только верхом, неприступную, как Жанна д'Арк. Она так презирает меня, что даже не глядит в мою сторону. Да... Но меня как раз и пленяет в ней то, что тут я ничем не рискую, она не спешится, не подойдет ко мне, не потребует, чтобы я перестал быть ребенком и вел себя как мужчина... Думал ли я об этом тогда, возвращаясь из Лассю? Или сочиняю уже новую историю? Еще меня волнуют те девушки, что поют в церкви, обступив фисгармонию, на которой играет сестра Лодоиса... Особенно дочки аптекаря, они носят черную бархотку на шее, и при пении шея у них раздувается, как у голубки...

За время этих каникул не произошло ничего, что нарушило бы обычное течение нашей замкнутой жизни. Симона с нами уже не было. О госпоже Дюпор почти не вспоминали, прошел слух, будто она выпивает, а по словам Мари Дюбер, которая по-прежнему работала у нее поденно, она даже «вставала по ночам, чтобы пропустить рюмочку». Линия Дюпор — Симон затерялась среди других; потом — начало заня-

тий, возвращение в Бордо; Мальтаверн стал для меня сказочным островом, о котором я мечтал до наступления следующих каникул, когда я переходил в класс риторики. На этот раз произошло только одно событие: сам мэр согласился на визиты облаченного в сутану Симона к госпоже Дюпор. Мама и настоятель радовались этому, как победе, или по крайней мере притворялись, будто радуются. Происходили ли уже тогда тайные встречи господина Дюпора с Симоном? Задумал ли мэр еще в том году похитить его у церкви? По словам Симона, при встречах мэр никогда не говорил с ним о религии, он был очень любезен, советовался иногда по тому или иному поводу, рассказывал о своих политических друзьях, с которыми видится на заседаниях генерального совета департамента. Он даже был близок с молодым министром Гастоном Думергом и мог бы обратиться к нему с любой просьбой...

Этим летом Симон как воды в рот набрал — про мэра ни слова. И вдруг словно гром среди ясного неба: госпожа Дюпор явилась вчера в ризницу, после того как настоятель отслужил мессу, и открыла ему замысел своего мужа. Как говорила мама, мэр пообещал Симону взять на себя его содержание, пока он не получит диплом лицен-

циата, и даже после этого, если Симон захочет поступить в Эколь Нормаль[13] и потом готовиться к конкурсу на звание преподавателя.

По словам госпожи Дюпор, разгадать намерения Симона невозможно. Ей казалось, что он поддается искушению, но еще колеблется. Настоятель боялся своим вмешательством все испортить. Я заставил его осознать собственную тупость. Я видел, что он в трудном положении и не надеется без меня распутать весь этот запутанный клубок в голове и сердце юного крестьянина, пересаженного на семинарскую почву и неожиданно оказавшегося — пусть в масштабах столицы кантона — ставкой в той борьбе, что завязалась во Франции между государством и церковью, или, вернее, между франкмасонством и конгрегациями.

Я-то знал, что Симон увильнет от спора еще до того, как он начнется. У Симона, вероятно, есть в семинарии друг, которому он все рассказывает,

---

[13] Примечания: 13

Высшая нормальная (педагогическая) школа *(фр. Ecole normale superieure)* — французское государственное учреждение в сфере высшего образования во Франции в подчинении министерства высшего образования и научных исследований Франции, одно из самых престижных высших учебных заведений Франции, для поступления в которое необходимо по окончании лицея проучиться несколько лет в специальных подготовительных классах, чтобы затем пройти строгий конкурсный отбор.

но я для него существо высшей расы, я сын мадам; он любит меня, я уверен, но для него я так же недоступен, как для меня мадемуазель Мартино или вечерняя звезда. Он ничего не скажет, разве только...

Я всегда предпочитал писать, а не говорить: с пером в руке я не знал удержу.

— Я мог бы, — сказал я господину настоятелю, — написать Симону письмо, оно уже сложилось у меня в голове.

— Но он сильнее тебя в богословии...

— Как будто дело в богословии! Я знаю, с какой стороны повести наступление...

На самом деле я узнал это не более двух минут назад, и все еще было окутано туманом, но наконец-то я напал на след.

Настоятель твердил свое:

— Заставь его разговориться!

— Повторяю, он ничего мне не скажет. Да и вообще никто никому ничего не говорит. Я не знаю, в каком это кругу люди объясняются при помощи вопросов и ответов, как в романах, как в театре...

— Чего ты добиваешься? А чем же еще мы занимаемся целыми днями? Чем занимаемся мы с тобой сейчас?

— Это верно, господин кюре, но часто ли у нас

с вами бывает такая приманка для разговора? Не помню, чтобы мы с мамой разговаривали иначе, как банальными фразами, зачастую на диалекте: ведь то же самое говорят и фермерам и прислуге. Может быть, нам мешает разница в возрасте или общественном положении, только у нас нет общего языка... Но я заметил, что фермеры тоже не разговаривают друг с другом, при встрече они спрашивают: «*As dejunat?*» — «Позавтракал?» Важнейший и даже единственный интерес в жизни — это еда, которую они разминают своими беззубыми деснами, словно жвачку жуют. А влюбленные, разве они разговаривают? — вздохнул я.

Кюре повторил:

— Чего ты добиваешься?

— Если бы тут была мама, она сказала бы: «Пустомеля!» — и все стало бы ясно... Но написать всегда можно. Я могу написать Симону великолепное письмо, он будет его читать и перечитывать, будет носить на сердце...

— Ты одержим гордыней, — сказал настоятель. — Что ты возомнил о себе? — И после недолгого молчания: — Что ты ему напишешь? Ты его совсем не знаешь.

— Я знаю, в каком направлении я хочу дей-

ствовать, вернее, должен действовать... Сам-то я ничего не хочу.

Я думал посмеяться над настоятелем, но неожиданно увлекся сам. То, что я хотел написать Симону, разворачивалось вдаль и вширь перед моим внутренним взором. Мне не терпелось скорее все изложить на бумаге, чтобы быть уверенным, что это чудо свершится.

ГЛАВА II

Прошло больше года, и снова я открываю эту тетрадь: записи в ней прерваны не за недостатком материала, о господи, нет! Но все мною пережитое не поддавалось никакому толкованию, а главное — убило во мне ребенка. Нет, это неправда: я стал другим, оставаясь самим собой. Я не отказываюсь от того, что написал в семнадцать лет. Теперь я вступаю на порог девятнадцатого года и, разумеется, не стал бы по собственному почину записывать все, что было пережито. Но Донзак придает слишком большое значение — и это мне кажется странным — моей реакции на повседневные события жизни. Нет, пожалуй, это не так уж странно. Дело в том, что Донзак, будучи бесконечно умнее меня (хотя он и написал мне однажды: «*Ты не так умен, как я, но почти что...*»), страдает бесплодием, которому сам удивляется: он все понимает, но выразить ничего не может. Он не сочиняет, не творит, больше того — он не умеет излагать свои идеи. Он способен на потрясающие формулировки, но совершенно не способен на развитие мысли.

Только мои сочинения обычно удостаивались чести быть прочитанными вслух перед классом, его же — никогда. Донзака это поражает больше, чем меня. «Подумать только, что именно ты, а не я, — вздыхает он, — ты будешь выдающимся человеком, а я так и останусь никем до конца своих дней!» Но вот он в чем великолепен: он не считает, что это несправедливо. Он верит, что я стану писателем, даже большим писателем, а он будет всю жизнь преподавать латынь невеждам семинаристам. Но он верит также, что, отправляясь от любого написанного мною текста на тему, подсказанную жизнью и преломленную моим восприятием, он, Андре Донзак, совершит то, что сам я не способен совершить, то, что он называет «открытием». Открытие чего? В его понимании речь идет о выявлении некой скрытой точки, где правда жизни, постигаемая опытом, соединится с правдой, данной нам в откровении, в том откровении, которое следует извлечь из грубой породы, затвердевшей вокруг слова божьего в течение двухтысячелетней истории церкви.

И вот мы условились, что я должен черным по белому, не опуская ни одной подробности, изложить все, что произошло в Мальтаверне, доверив это только ему и никому другому, рассказать

ужасную историю Симона так, как она сложилась в моем сознании и продолжает развиваться, грызя меня изнутри. Я понял, что во мне ничто не может умереть, что я до краев полон каким-то странным, мучительным и мрачным миром... Что же будет, когда во мне скопится столько воспоминаний, словно я прожил две тысячи лет, как говорит Бодлер[14]? Какая чудовищная старость ждет такого человека, как я! Наверно, я умру молодым... Нет! Это неправда: я не верю, что умру молодым, я не верю, что вообще должен умереть, — я чувствую себя невероятно вечным.

Итак, вот что произошло после того, как я обещал кюре поговорить с Симоном и сломить его молчание, написав ему письмо, строки которого уже складывались у меня в уме и не ответить на которое он бы не мог.

Я спустился к Юру — речке, протекающей через Мальтаверн: я знал, что застану там Симона за рыбной ловлей. Было четыре часа дня, мимоходом я захватил в буфетной гроздь винограда. Поблескивала мокрая трава — там, где теперь рас-

---

[14] Примечания: 14

Бодлер Шарль (1821 — 1867) — французский поэт, критик, эссеист и переводчик; основоположник эстетики декаданса и символизма, повлиявший на развитие всей последовавшей европейской поэзии.

кинулись луга, было когда-то болото. Я заметил, что ольха, окаймлявшая берег, отливала голубым. Вспугнутые мной сверчки и кузнечики, жаркое дыхание болотной топи, гудение лесопилки господина Дюпора, грохот тележек, доносившийся с дороги в Сор, — все впечатления этой минуты останутся во мне навсегда, я не избавлюсь от них, хотя бы дожил до глубокой старости.

Я не видел Симона, рыбачившего где-то в конце луга, но слышал его. Забравшись в ольшаник, я сел у берега, уверенный, что раз он идет вдоль ложа реки, стуча по корням и выгоняя щук и налимов, то рано или поздно поравняется со мной и не сможет не заговорить. Тогда-то и начнется большая игра.

Я сидел на коврике из мяты. Голубые и серые стрекозы плясали над зарослями осмунды[15], которую мама называет самкой папоротника. Обычный сентябрьский день каникул, я мог бы заниматься тем же, чем и остальные восемнадцатилетние юноши... А чем они, собственно, занимаются? Я боюсь даже думать об этом. Ну а я, что за демон или ангел владел мной в тот час? Или все это была комедия? Но тогда кто суфлиро-

---

[15] Примечания: 15
Осмунда — род папоротников; то же, что чистоуст.

вал мне в этой роли? Кто заставлял репетировать перед выходом на сцену?

Я прислушивался к всплескам воды при каждом шаге Симона и вдруг в просвете между деревьями увидел его самого. Он был в трусах, ужасающе белый — той белизной, которая всегда делала для меня невыносимым вид обнаженного тела, особенно такого вот, с широким крестьянским костяком, крепко сбитого, но словно обессиленного интеллектуальной жизнью, которая изнурила этого бедного «бунтаря Жаку».

А может быть, волосатый мужской торс — явный признак мужественности — внушал мне ужас? Но я никогда не задерживался на подобных вопросах, приученный с самого раннего возраста видеть тут только «дурные мысли».

Когда Симон поравнялся со мной, я крикнул ему: «*Adouchats!*» Он оглянулся, воскликнул: «О, извините!», выскочил на берег, второпях натянул штаны поверх мокрых трусов и сунул голову в фуфайку. Он был без сутаны — это меня поразило. Я просил его продолжать свое занятие. Но он уже кончил: все равно ничего не ловится. Народ из местечка приходит вытаскивать верши чуть свет. Он бросал на меня быстрые взгляды, но тут же отводил глаза, торопясь уйти и в то же

время — я решаюсь так написать, потому что это правда и, кроме Донзака, никто никогда этого не прочтет, — покоряясь моим чарам; очень важно, что он был под властью моих чар в этот момент и что сам я был охвачен «вспышкой интуиции». Ведь Симон только и хотел сбежать, сбежать от меня. Надо было удержать его силой. Я сказал, что последние дни все только и делают, что чешут языки на его счет. Он насупился:

— Болтают? А мне без разницы. А, б..!

Как должен был он волноваться, чтобы употребить такое неправильное выражение, да еще произнести при мне ругательство! И вдобавок повторил его. Правда, его брат Прюдан каждую свою фразу словно приколачивал этим словом, и Симон на каникулах слушал это целыми днями. Я возразил, что все касающееся его, Симона, мне далеко не безразлично. И тут он, может быть впервые в жизни, надерзил одному из сыновей мадам:

— Это мое дело, а не ваше.

— И мое, потому что я привязан к вам.

Он пожал плечами и усмехнулся.

— Это настоятель просил вас заставить меня разговориться и выудить все, что ему надо?

— Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что я

на стороне настоятеля и мадам.

— Но вы, однако, и не друг господина мэра.

— Нет, разумеется! Но если бы я мог вести игру — вашу игру, на вашем месте, я играл бы на все — и против мэра, и против кюре одновременно.

— Да, но раз никто вас об этом не просит... Нет! Скажите на милость! Что можете вы в восемнадцать лет знать такое, чего не знают другие?

— Я как раз знаю то, чего не знают они и знаю только я.

— Ах! Вот оно что!

Симон остановился посреди луга и пристально посмотрел на меня.

— Однако и самонадеянны же вы!

— Что знаю, то знаю, и вы тоже знаете, что я это знаю.

— Что я знаю?

— Что в Мальтаверне только я один зрячий, может быть, я и вы. Но вы слишком всем этим связаны, чтобы видеть ясно, вы слишком в этом погрязли.

— Ладно! Это уж как вам будет угодно, господин Ален. Но я желаю, чтобы вы оставили меня, к чертовой матери, в покое.

Груб со мной, первый раз в жизни...

— В покое? Бедный Симон! Да вы скоро вконец

успокоитесь. Я бы мог открыть вам глаза одним словом... Нет, пожалуй, не одним, это уже бахвальство: я должен говорить столько, сколько понадобится...

— Я не желаю, чтобы вы со мной об этом говорили.

— Тогда разрешите мне написать. Хотите, я напишу вам?

— Вы этого никогда не делали, даже когда я был удостоен первого чина, — сказал он с неожиданно прорвавшейся старой обидой, — даже когда получил высшую награду... Разве я хоть что-нибудь значу для вас?

— Вы это отлично знаете, Симон, вы не можете этого не чувствовать сейчас, когда я страдаю из-за вас...

— Ах, так! Но кто я для вас? Деревенщина Симон, которому все «тыкают»...

— Только не я.

— Да, это верно, только не вы, но для вас я всегда был Симон, а вы для меня — господин Ален, даже когда вам было четыре года. Господин Лоран, господин Ален! Скажите на милость! А, б... !

Он был вне себя. Он ускорил шаг. Мне приходилось чуть ли не бежать, чтобы идти с ним рядом. Я настаивал, чтобы он мне разрешил написать

ему.

— Да какое я имею право запрещать вам?

— Обещайте, что прочтете мое письмо.

На этот раз я нашел нужный тон. Он остановился. В этом месте река делала крутой поворот. На траве лежали длинные тени тополей. Было, должно быть, часов пять. Симон сказал:

— Да, конечно, господин Ален, я прочту ваше письмо, я отвечу вам. Не беспокойтесь. Но что вы можете знать обо мне, чего не знают другие?

— Первое, что я могу сказать вам сразу же, но не от своего имени, а от имени господа бога...

Он только пробормотал: «А! Ха! Вот как!» Я вел крупную игру. Но моя сила была именно в том, что я не играл: я действительно был во власти своего вдохновения.

— Эти болваны не знают, что господь возлюбил вас таким, какой вы есть, то есть юным честолюбцем. Каждая часть вашей души любезна богу, так почему же не мог он возлюбить честолюбие, которое сейчас в ней главенствует?

Хотя ни один мускул не дрогнул на его лице, я почувствовал, что он насторожился. Я продолжал:

— Все они одинаково слепы — и те и другие. Мы с вами знаем, Симон, пусть церковь действитель-

но стала походить на изъеденные ржавчиной трубы, которые мэр так высмеивает, а мама и господин настоятель принимают за высшую истину, но мы-то знаем, что по трубам этого древнего водопровода текут, пусть не потоком, пусть скупыми каплями, но все же текут слова вечной жизни...

Сам того не сознавая, я цитировал Донзака. Симон пробормотал:

— Э! Скажите пожалуйста, а при чем тут честолюбец? Вы ведь не знаете, что они мне предлагают. Вы сами говорите, это ржавые трубы... А жизнь, правда жизни, и вы это отлично знаете, теперь уже проходит не по ним.

— Нет, в сущности, я не согласен с тем, что сказал о старом водопроводе: ведь римская церковь, ее обряды, ее учение, даже ее история, и святая и преступная, ее искусство, наконец, воплощенное в соборах, в церковном пении, в картинах фра Анжелико[16], — прекраснее этого нет в мире ничего, меж тем как все, что олицетворяют господа Лубэ и Комб, Большой и Малый дворцы

[16] Примечания: 16

Фра Беато Анджелико (1400 — 1455) — итальянский художник эпохи Раннего Возрождения, доминиканский монах.

в Париже[17], кажется мне самым низменным периодом человеческой истории. Но хватит. Не об этом речь. На карту поставлен Симон Дюбер, его земная судьба и вместе с тем его вечное блаженство. Выслушайте меня внимательно: чем бы ни заманивал вас господин Дюпор, этот провинциальный франкмасон, даже если это будет завидное место у сенатора Мони или даже в Париже, у Гастона Думерга...

— Откуда вы знаете?

Откуда я знал? Я попал в цель, но не совсем наудачу. Думерг приезжал к нам в прошлом году на открытие Сельскохозяйственной выставки, и господин Дюпор представил ему Симона.

— Я знаю только то, что господу угодно, чтобы я знал. Но слушайте внимательно. В мирской жизни, как бы вы ни поступали, вы все равно будете орудием той или иной партии, без дара красноречия, которого вы лишены, вы останетесь пешкой, вы никогда не выбьетесь на первое

---

[17] Примечания: 17

Эмиль Лубе (1838 — 1929) — французский политический деятель, президент Франции (Третья республика; 1899—1906). Способствовал образованию Антанты.

Комб Луи Эмиль (1835 — 1921) — французский государственный и политический деятель; масон.

Большой и Малый дворцы — величественные архитектурные сооружения, в которых в 1900 г. проводилась Всемирная выставка.

место, вам всегда будет недоставать...

Я заколебался, я боялся оскорбить его. На языке у меня вертелись слова, постоянно повторявшиеся в маминых разговорах: «элементарной воспитанности». Симон понял меня.

— Ах, так! Я навсегда останусь деревенщиной, черноземным, да еще бывшим церковным служкой.

— Я не это хотел сказать, но подумайте сами: сутана меняет человека и духовно и социально. Сутана — это новая кожа. Маршальский жезл в ранце простого солдата — какая чепуха! Зато кардинальская шапка за плечами умного семинаристика действительно возможна, поверьте, и только от вас зависит, добыть ее или нет. Да, все зависит от вашей воли и вашего ума. Что не помешает вам быть хорошим священником, верным своему долгу, и даже священником святым. Святые епископы тоже бывают, и даже святые кардиналы.

Какой гениальный ход! Я освятил первое место, к которому стремился Симон. Он покачал головой:

— Все это старая сказка, с этим покончено, страница перевернута. Комб спустил свою свору на травлю церкви...

— Полноте! Церковь — империя, объединившая пятьсот миллионов душ, — устоит перед всем, что обрушилось на ее французскую провинцию: ведь наше духовенство, и черное и белое, вело себя по-идиотски, попадало во все ловушки, расставленные правыми националистами, а верующие, это панургово стадо, слепо следовали за ним...

— А! Вы признаете, что были у нас ошибки?

— Да еще какие! Ошибка — слишком мягкое слово; сообщничество с негодяями из генерального штаба, совершившими подлог, чтобы держать на каторге невинного, — этому нет прощения. Да, церковь до конца расплатится за это.

Симон смотрел на меня, раскрыв рот.

— Вы признаете Дрейфуса[18] невиновным? Вот тебе на!

— Но, Симон, я признаю лишь то, что бросается в глаза, — тупой антиклерикализм Комба под стать тупому клерикализму, который царил и продолжает царить в нашем лагере; мы можем наблюдать это здесь, в нашем кантоне, как в капле воды под микроскопом: требование моей

---

[18] Примечания: 18

Дрейфус — Альфред (1859 — 1936) — офицер французского Генерального штаба, еврей по национальности. В 1894 г. против него было сфабриковано дело о шпионаже в пользу Германии. Несмотря на отсутствие доказательств, приговорен к пожизненной каторге.

матери, чтобы арендаторы отдавали дочерей на обучение монахиням, положение учительницы светской школы, «барышни», которой чураются как прокаженной, а в церкви загоняют в угол.

Симон прошептал:

— Но тогда...

— Что тогда? Пусть не будет ни грана подлинного христианства у наших мнимых христиан, пусть получат они по заслугам еще на этом свете, это не меняет ничего в условиях задачи, поставленной перед молодым аббатом, жаждущим пробиться на первое место. Необходимо выбрать правильное направление с самого начала, взять курс на Париж, на духовную академию, затем, если возможно, на Рим. Главное, стать необходимым одному из тех, кто активно действует на церковной арене, им всегда нужна в помощь голова вроде вашей, «голова, в которой все умещается», как говорит моя мама. Они по большей части не слишком сильны в науке.

— Боюсь, что и я не сильнее.

— Не беда! Главное, иметь «голову, в которой все умещается». Основы у вас есть, я полагаю? Томизм[19] для повседневного употребления, то,

---

[19] Примечания: 19

Учение Фомы Аквинского, принятое ортодоксальной католической церковью.

что Донзак называет «непоколебимый томизм»...

Мы остановились на лугу, прямо против дома. Симон стоял к дому спиной и не видел, что на террасе маячат две черные грузные фигуры — мама и господин настоятель. Заметив нас, они поспешно скрылись.

— Разумеется, Симон, вам нужно будет как следует познакомиться с ересью, против которой вы собираетесь бороться, — с «модернизмом». Читали ли вы хоть немного Ньюмена, Мориса Блонделя, Ле Руа, Луази, Лабертоньера[20]?..

Он жалобно признался, что едва знает их имена.

— Донзаку ничего не стоит дать вам полную библиографию.

— Но он ими восхищается?

— Да, но он не может не удивляться глупости и невежеству их противников, он знает, как следовало бы с ними спорить, стоя на точке зрения томизма. Он сумеет великолепно вооружить вас против них, причем так, чтобы ваша позиция не

---

[20] Примечания: 20

Ньюмен Джон — (1801—1890) — английский богослов, педагог, публицист и церковный деятель. В 1845 г. перешёл из англиканства в католичество.

Блондель Морис (1861— 1949), Леруа Эдуард (1870 — 1954), Луази Альфред (1857 — 1940), Лабертоньер Люсьен (1860 — 1932) — французские представители католического модернизма.

отдавала ретроградством. Впрочем, богословие — это только основа. Важно правильно выбрать себе специальность, например каноническое право, одним словом, какую-нибудь дисциплину в этом роде, тут я вам не советчик, так уж у меня устроена голова — в ней умещаются только определенные идеи.

Я свернул на аллею, ведущую к большому дубу, чтобы нас не могли увидеть из дома. Сумерки еще не наступили, но от реки потянуло прохладой. Симон теперь уже не пытался уйти. Хоть этого-то я добился. Он шел, опустив глаза, словно окаменев, в глубокой сосредоточенности: жесткое, мертвенно-бледное лицо без кровинки — не выделяются даже губы — с черной двухдневной щетиной на щеках, это лицо встает у меня перед глазами, когда я думаю о Симоне. Таким я увидел его, когда мы подошли к большому дубу. Он прошептал:

— Слишком поздно! Слишком поздно!

— Нет, не поздно, раз вы еще здесь.

Я сел на скамью, прислонившись к дубу. Он остался стоять. Мне почудился трепет надкрылий готового взлететь майского жука. Ах, удержать его, удержать во что бы то ни стало!

— Большой дуб, — сказал я, — помог мне сыграть забавную шутку с господином настоятелем...

— Вы позволяете себе шутки с господином настоятелем?

Я рассказал ему о своей исповеди седьмого сентября. Сначала он не хотел верить: «Э! Рассказывайте!» Он смеялся. Никогда я не видел, чтобы он так хохотал. Раньше чем приобщать его к «модернизму», придется научить его пользоваться зубной щеткой.

— Самое интересное, — сказал я, — что я действительно с детства придерживаюсь идолопоклонства!

Я прижался к божественному дубу щекой, а потом надолго прильнул губами. Симон присел рядом. Он уже не смеялся. Он спросил, не была ли эта исповедь кощунством.

— Нет, настоятель рассудил иначе.

— Он знал, что вы неповинны в других грехах?

Я не ответил. Симон пробормотал:

— Извините меня.

— Вам не в чем извиняться. Просто я не люблю говорить о таких вещах.

— Однако они связаны со всей этой историей, с нашим спором. Да, с тем, что господин мэр называет «грехом против природы», то есть с вынужденным безбрачием... Вы не понимаете, — сказал он с неожиданной нежностью, — вы ан-

гел. Впрочем, полу ангел, полу дьявол, — добавил он, засмеявшись.

— Послушайте, Симон, я знаю, о чем идет речь, уж поверьте мне. Разумеется, прежде чем согласиться на эти условия, человек должен испытать себя. Но если хватит у него сил и мужества, как поможет ему это в дальнейшем продвижении! Вас ждет крутой подъем, подумайте, какое преимущество — не тащить за собой детей. Безбрачие? Но оно облегчит вам победу.

— Да, но речь идет о чистоте. А послушали бы вы, что говорит об этом господин Дюпор...

— Господин Дюпор сам не лучше других, у него две постоянные связи, да еще он работниц к себе зазывает...

— Возможно, но ведь и не хуже?

— Во всяком случае, не брак способен разрешить задачу, поставленную перед нами плотью и этим непонятным сочетанием души, взыскующей бога, с самым животным инстинктом.

Симон пробормотал:

— Но есть же такие, что любят друг друга.

— Да, Симон, есть такие, что любят. Но, может быть, это тоже призвание.

— Господин Дюпор говорит, что его во мне истребили и в вас тоже. В общем, он так полагает.

— Я сам часто обвинял в этом воспитание, которое получили мы оба, Лоран и я. Но Лоран как раз похож на всех остальных. Он даже раньше времени стал бегать за девицами. Я же родился иным... Я родился с чувством отвращения... А вовсе не ангелочком, как вы думаете... Сейчас я вас удивлю: я еще и боязлив до малодушия. Причиной всему один пустяковый случай. Вы бывали на ярмарке в Бордо, на площади Кенконс, в октябре и в марте?

— Э! Вы думаете, нас, семинаристов, водят гулять на ярмарку?

— Это изумительное место, поэтичное необыкновенно.

— Что? Бордоская ярмарка?

Крестьянин прежде всего думает, что над ним смеются.

— Да, там в каждом балагане свое небывалое представление. В каждом играют свою музыку, не заботясь о других. В общем, получается чудовищная какофония, пропитанная запахом карамели и жареного картофеля, а в стороне — подозрительный домик с женским именем на вывеске, и сквозь дыру в занавесе вдруг мелькнет рука или ляжка великанши. И размалеванные картины, где господа и дамы распивают шампанское, а у

метрдотеля во фраке вместо головы череп — это смерть! А за площадью словно театральный задник — река и скользящие по небу корабли...

— Зачем вы мне все это рассказываете?

Симон смотрел на меня с подозрением Я неосторожно вспугнул его, вместо того чтобы приманить. Я снова почувствовал, как дрогнули надкрылья майского жука. Я быстро заговорил:

— Чтобы вы узнали об одном происшествии, которое помогло мне сделаться, по вашим словам, ангелом. Однажды на этой ярмарке я зашел в музей Дюпюитрена. Там были выставлены восковые муляжи органов человеческого тела. Цели, очевидно, были самые нравоучительные, но среди прочего там изображались и роды.

— Мадам разрешила вам?

— Нет, случилось так, что я вышел из дому один, с товарищем. И вдруг я увидел... Я буду видеть это до конца моей жизни, да, до последнего вздоха... На этикетке было написано: «Половой орган негра, изъеденный сифилисом».

Некоторое время мы оба молчали. Вдруг Симон спросил:

— Что означает для вас чистота? Что сказали бы вы семинаристу, если бы он спросил у вас, зачем нужна чистота?

— Чтобы можно было отдать себя. Так ответил мне молодой священник, которому я однажды исповедовался. Отдавать себя всем, говорил он, — в этом наше призвание, и оно требует абсолютной чистоты. Тогда можно отдать себя без остатка, ни о чем не рассуждая.

— Э, нет, господин Ален! Вы что же, издеваетесь надо мной? Только что вы возвещали и сулили мне триумфы в миру, а теперь, выходит, надо отдать себя и стремиться к чистоте для того, чтобы можно было себя отдавать...

Он ухмылялся, злорадствуя, что ткнул меня носом в мои же противоречия. Я взял его за руку. Она была влажная. Я ощутил его лишенный суставов шестой палец, похожий на червя, которого можно раздавить и «выпустить сок», как говорил Лоран, когда был маленький. Преодолев отвращение, я сказал:

— Вы не понимаете меня. Разумеется, в том плане, в каком идет спор с господином Дюпором, я не могу обещать вам ничего другого, кроме успеха в миру, который, самое большее, может сделать вас князем церкви... князем церкви и перед людьми, и перед богом. Ибо если вы добьетесь успеха, то в сане епископа или кардинала вы будете выполнять долг милосердия и по отношению к

верующим, и ко всей церкви в целом. Но знайте: в любой момент стремительного бега к почестям, на любом повороте этого триумфального пути вы можете его оставить, отказаться от всего, стать святым, об этом вы тоже мечтаете, я знаю.

Откуда я это знал? Уж не оттого ли, что приписывал себе дар прозрения?

— Я — святым? А, б... !

— Да, святым. Возможно, вы не выдержите этой бешеной гонки за почестями и укроетесь в каком-нибудь захолустном приходе, а может быть, станете послушником. Но скорее я представляю вас в нищем приходе, брошенном туда, словно кусок хлеба в рыбный садок.

— А почему же у меня не будет такой возможности в Париже, в мирской среде, где я подвергнусь испытаниям?

Я не выпускал его руки, хотя теперь она уже стала совсем мокрой и скользкой.

— Нет, Симон, если только вы войдете в этот мир, оставьте всякую надежду, вода сомкнется над вами. Я не хочу сказать, что вас не ждут там известные выгоды, но пути к богу будут отрезаны.

Он огрызнулся:

— Что вы об этом знаете? Бог не станет спраши-

вать у вас разрешения. Мы-то уж хорошо знаем, что его пути — не наши пути. Нам все уши об этом прожужжали.

— Знаю, и все тут, — сказал я. — Вы вовсе не обязаны мне верить, но, если вы изберете Париж, вы погибли.

Я знал, что он уже сделал выбор. Знал, что все для него кончится плохо. Он высвободил руку. Я вытер свою носовым платком. Он сказал совсем тихо:

— Я уезжаю завтра на рассвете.

Прюдан отвезет его в двуколке в Вилландро, а там он сядет на поезд, никто здесь и не заметит его отъезда.

— Если только вы не разболтаете.

— Нет, Симон, я не разболтаю.

По дороге шло стадо, я услышал крики пастуха. Симон закашлялся. Я произнес мамину неизменную фразу:

— Тянет холодом с речки.

Симон спросил еще раз:

— Вы никому не расскажете?

Он согласился, что будет лучше, если я подготовлю настоятеля и маму, чтобы смягчить удар, но не сообщу, что это случится так скоро. Он зашагал прочь по тропинке. Я направился к дому и

на пороге столкнулся с Лораном, который заявил, что «смывается»: у нас сидит кюре да вдобавок еще мамаша Дюпор!.. Мамаша Дюпор? Лорана это не удивило, его ничто не удивляет.

В прихожей горела висячая лампа, хотя было еще совсем светло. Прежде всего я увидел сидевшую напротив господина настоятеля и мамы, неподвижно, словно каменное изваяние, госпожу Дюпор в траурной вуали, с пожелтевшими глазами, какую-то потерянную и неряшливую, хотя, готовясь к визиту, она, несомненно, уделила внимание своему туалету, но женщину, которая выпивает, может выдать любая мелочь. Надо было видеть, каким взглядом пронзала мама эту пьянчужку, к тому же, по-видимому, питавшую привязанность, склонность к Симону! «Просто невероятно, что только не происходит с этими людьми», — должно быть, думала она. Просто невероятно было, что госпожа Дюпор сидит здесь, у нас.

— Вы знаете моего сына Алена?

Госпожа Дюпор повернула ко мне лицо, напоминавшее мертвую маску, которую не могли оживить не то коровьи, не то птичьи глаза, из-за этих глаз она казалась порождением какого-то мифологического соития. Она ответила, не сводя

с меня взгляда, что Симон ей часто рассказывал обо мне. Тогда настоятель заметил, что она может говорить свободно в моем присутствии — надо, чтобы я был обо всем осведомлен. Но у госпожи Дюпор пропала охота говорить. Она уставилась на меня круглыми глазами священной коровы. Она принадлежала к той породе коров, которая, как мне известно, считала меня съедобным.

Пришлось господину настоятелю изложить то, что сообщила им госпожа Дюпор: Симон, если ему удастся, через год закончит учение в Париже и получит там место в канцелярии радикальной партии на улице Валуа; но это лишь ширма: разработан план, который стал известен госпоже Дюпор, он состоит в том, чтобы досконально использовать воспоминания Симона о католической школе и семинарии. По словам господина Дюпора, любое из этих воспоминаний дает богатую пищу. Он взял у Симона все его школьные тетради, тщательно изучил учебники истории и философии.

— Но как же Симон согласился?

— Его уверили, что, если рассмотрят его тетради — тетради первого ученика в классе, — это будет способствовать его назначению.

Тут вмешалась госпожа Дюпор:

— Симон слишком умен, чтобы не понять, что это предательство.

Я запротестовал:

— Симон не представлял себе, будто можно что-то извлечь из его школьных тетрадей.

Да и в самом деле, что можно было из них извлечь? Из учебников, пожалуй, еще можно. В нашем коллеже учебники для католических учебных заведений были начинены смехотворной ерундой, и мы с Донзаком составили себе из них целый репертуар. Во всяком случае, нельзя назвать предателем человека, сообщившего нечто, доступное всем. Симон хочет вкусить от запретного плода. Настоятель спросил, сказал ли он мне об этом.

— Я это понял сам. Ставка сделана.

Настоятель возразил:

— Нет! Он к нам вернется!

Я покачал головой. И прошептал:

— Он погиб!

— Погиб для нас, может быть, — пылко воскликнул господин настоятель. — Но не погиб, бедное мое дитя, нет! Нет! Не погиб!

Мне он понравился в эту минуту, наш бедный священник. Я заявил, что верю в это так же, как он. А мама, видимо, решила молчать, пока гос-

пожа Дюпор пребывает здесь, но госпожа Дюпор словно приросла к креслу, заполнив его всей своей массой. Она смотрела на меня, не скрываясь: я чувствовал на себе ее взгляд. Тогда мама, которая во всех случаях жизни знает, как прилично и как неприлично поступать, поднялась, вынудив подняться и всех нас, кроме госпожи Дюпор, хотя и той должно было стать ясно, что мама предлагает ей уйти, правда смягчив это выражением благодарности за сообщенные сведения. Наконец госпожа Дюпор встала, подошла ко мне и проговорила:

— Приходите ко мне, пока не начались занятия. Мы поговорим о нем.

Я извинился: занятия начнутся через две недели.

— Но у вас в этом году позже, ведь вы уже бакалавр. Симон говорил, что вы остаетесь в Мальтаверне поохотиться на вяхирей.

Значит, они обо мне говорили! Вот кого я, оказывается, интересовал. Мадемуазель Мартино обо мне не говорила ни с кем.

— Ну, какой из меня охотник!

— Что ж, тем лучше, у вас будет время.

Она улыбнулась закрытым ртом, как все, кому приходится скрывать плохие зубы. Кюре, негодуя,

произнес властным тоном:

— Я провожу вас, сударыня! — и повел ее к выходу.

Я пошел было вслед за госпожой Дюпор и господином настоятелем, но мама приказала:

— Нет, оставайся!

Мы вернулись в гостиную. Она упала в кресло и закрыла лицо руками. Чтобы помолиться или чтобы скрыть свою ярость? Я думаю, она пыталась и молиться, и побороть свою ярость, но все же под конец взорвалась.

Бедная мама, одно за другим у нее вырывались слова, которых я так опасался. Она подвела итог всему, что истратила на Симона в течение десяти лет. Чем больше для них делаешь, тем больше они вас обворовывают. Ах! Как нас провели!

— Впрочем, я преувеличиваю, меня-то не провели, у меня не было никаких иллюзий. Как говорит господин настоятель, надо отдавать себя целиком и при этом знать, что взамен ничего не получишь.

— Это, может быть, верно для господина настоятеля, — сказал я, — но мы — другое дело. Утешься, ты возьмешь свое с этого скота.

Мама оторопела:

— С какого скота?

— Этот старый вьючный скот Дюбер за триста франков в год управляет твоими десятью фермами, и только он один знает границы наших владений, так что, уйди он сегодня, мы будем зависеть от милости наших соседей.

— Кто же виноват, если ты и твой брат никуда не годитесь, если вы не способны даже запомнить межи...

— Ты прекрасно знаешь, что так этому научиться нельзя, надо тут родиться и жить здесь безвыездно. Ты сама не раз видела, как Дюбер пробьется сквозь заросли, поскребет землю там, где и знака никакого нет, и вдруг среди кустов ежевики появится межевой камень. Ты без него не сможешь обойтись. Он еще может тебя шантажировать, возьмет да и потребует втрое больше, чем ты ему платишь. И то будет смехотворно мало.

— Ну, это уж слишком! У него есть жилье, отопление, освещение, он получает молоко и половину свиной туши.

— Да он и не знал бы, куда девать те деньги, которые ты ему недоплачиваешь. Вот он и работает даром.

Она простонала:

— Всегда ты на их стороне, против меня...

В это время вернулся господин настоятель. Он проводил госпожу Дюпор домой и сделал вид, что идет к себе.

— А... сам вернулся сюда. Нам необходимо поговорить.

— Во всяком случае, без этого дурачка. Хвалился, что уговорит Симона, а теперь его оправдывает и во всем обвиняет меня.

— Я ничего не обещал. Я был уверен, что знаю, о чем надо говорить с Симоном. И не ошибся, но теперь уже поздно.

— Во всяком случае, мы-то с вами сделали все, что могли.

Мама обращалась к кюре. Она требовала одобрения, похвального листа. Он молчал; своей худобой, крепким крестьянским костяком он походил на Симона: большой иссохший остов, и это грубое, словно вылепленное из глины лицо, и глаза, как капли глазури. Он молчал, она настаивала:

— Да или нет? Разве не сделали мы все, даже невозможное?

Кюре вполголоса бросил слово на местном наречии, я даже не знаю толком, как его писать: «*beleou*» (конечное «*ou*» почти без ударения), означает оно «может быть». Это «*beleou*» уже в

двадцати километрах от Мальтаверна не поймет ни один крестьянин.

— Мы хотели дать церкви священника.

— Вопрос поставлен неправильно, — сказал кюре. — Мы не властны распоряжаться жизнью ближнего, даже если хотим посвятить ее богу, а тем более если он зависит от нас материально. Все, что мы могли сделать — вернее, все, что я, как мне казалось, желал сделать для Симона, — это понять, какова воля божия в отношении этого мальчика, помочь ему разобраться в себе самом.

Меня поразили слова кюре: «как мне казалось». Я не удержался и пробормотал:

— Ах, вот оно что, а на самом-то деле у вас были другие мотивы!

На маму снова накатил «приступ»:

— Извинись перед господином настоятелем сию же минуту!

Кюре покачал головой:

— В чем извиняться? Он меня ничем не оскорбил.

Я посмотрел на него и после некоторого колебания наконец сказал:

— Вы, господин настоятель, принимали, как и все мы, участие в этой смехотворной комедии. Но при этом вы помнили о своем облезлом, сыром

церковном доме, где сидите по вечерам в одиночестве, об алтаре, где отправляете службу по утрам в почти пустой церкви. Вы-то знаете...

— Какое отношение все это имеет к Симону? — спросила мама.

— И о поражении, унылом поражении. Легче потерпеть его от руки противника, нежели от мнимого приверженца. Враги — те по крайней мере ненавистью своей доказывают, что церковь еще способна возбуждать страсти.

Кюре прервал меня:

— Я лучше пойду. А то ты уже заговариваешься, как скажет мадам.

Он поднялся. В эту минуту вошел Лоран. Я ненавидел запахи, которыми он был весь пропитан к концу летнего дня, но тогда я обрадовался, что он здесь. Однако его присутствия было достаточно, чтобы наступила разрядка. Ничто уже не имело значения, кроме силков, которые он поставил, или щенка Дианы, которого он, как и подобает такому скоту, дрессировал, надевая на него парфорсный ошейник. Только мужичью полезно считать, что в мире хоть что-то имеет значение. Донзак любит повторять этот афоризм

Барреса[21]. Я сказал:

— Я провожу вас до церковных ворот, господин настоятель.

Туман, поднимавшийся над рекой, не дополз еще до аллеи. Кюре сказал:

— Чувствуется осень.

Я пробормотал, сам не знаю, с состраданием или ехидством:

— И вся зима еще для вас впереди...

Он не откликнулся. Помолчав немного, он спросил, не знаю ли я, когда уезжает Симон.

— Я тебя не спрашиваю когда. Но просто, знаешь ли ты?

Я ничего не ответил. Он не настаивал, но, когда мы уже подошли к церковным воротам, я спросил, служит ли он по-прежнему раннюю мессу в семь часов.

— Можно, я приду прислуживать завтра?

Он понял, схватил меня за руку; он будет ждать меня.

— Я приду чуть раньше, чтобы успеть исповедаться. Может быть, и мама придет.

— Нет, завтра не ее день.

Он ответил слишком поспешно, словно торо-

---

[21] Примечания: 21

Баррес Морис (1862 — 1923) — французский писатель и политический деятель, член Французкой академии.

пясь меня успокоить и успокоить себя самого. Больше мы не произнесли ни слова до самых дверей его дома. Там он сказал вполголоса:

— Я ошибся.

И так как я запротестовал: «Нет, нет, господин настоятель!» — он повторил:

— Я всегда буду ошибаться.

— Только не в самом главном, господин настоятель.

— Что ты имеешь в виду?

— Вы верите в то, что вы делаете. Может быть, вы вливаете новое вино в старые мехи, те, которыми обзавелись еще в семинарии? Но это новое вино вы обновляете каждый день вопреки старым мехам и старой теологии, которой повсюду приходит конец.

Кюре вздохнул, тихонько потрепал меня за ухо, проворчал:

— Юный «модернист»! — И ласково попрощался: — До завтра!

ГЛАВА III

Утренняя месса, ужасная сцена, разыгравшаяся между Дюбером и мамой, когда она узнала, что Прюдан отвез Симона к поезду в Вилландро, — все было вытеснено из моей памяти событиями, разыгравшимися в Мальтаверне несколько дней спустя. Но с чего начать? Я вижу себя на дороге в один из обычных вечеров, на дороге из Жуано. Кажется, всходила луна. Во всяком случае, в моих воспоминаниях царит луна. Тишина стояла такая, что, проходя через мост, я слышал, как бежит по древним камням Юр. Легкий, нежный плеск. Повсюду в этот час, во всяком случае если верить моим любимым книгам, соединяются живые существа. Раз даны декорации, должна быть дана и пьеса. Почему же я в стороне? Потому что даруются нам только декорации, все остальное — это уж наше дело, а у меня — в восемнадцать лет, — у меня не было сил... Сил для чего? Ни для того, чтобы умереть, ни чтобы жить. Я услышал кваканье жабы и вспомнил, как незадолго до смерти моя бабушка (впрочем, святая женщина) сказала, что лучше быть жабой под камнем, чем умереть. Как

будто быть жабой под камнем — это не есть уже счастье, как будто существует большее счастье на свете, чем тихо звать свою самочку и соединяться с ней под камнями или в путанице трав! Сейчас мне кажется, будто я предчувствовал, что ночью случится беда. Речной холодок, коснувшийся моего лица, был дыханием смерти... Но, возможно, все это я просто придумал.

Мама, завернувшись в шаль, бродила по аллее. Должно быть, читала молитвы, перебирая четки. Она предупредила меня, чтобы я не шумел: Лорану нездоровится, и он лег спать.

— Подумать только, ты заставляешь нас жить в одной комнате, как будто в этом сарае комнат не хватает! Понять не могу, для чего ты это делаешь.

Она не рассердилась. Только сказала, как бы оправдываясь:

— Вы никогда не разлучались.

— Этого хотела ты, а не мы: ведь у нас с Лораном разные вкусы, нам не о чем разговаривать.

Мама пустила в ход свой обычный упрек:

— Ты всех считаешь глупее себя!.. А вот кто настоящий дурень, — продолжала она с неожиданной яростью, — так это Симон. Подумать только, что он выбросил за борт...

— Да нет же, ничего существенного он не выбросил. При нем осталось все, чему он научился, его диплом бакалавра — все, чем он тебе обязан и чем воспользуются другие, если только это может тебя утешить.

— Не об этом речь, ты отлично знаешь!

— Но именно эта мысль для тебя непереносима. Ну а судьба Симона тебя не очень интересует: ведь ты его не любишь. Не станешь же ты уверять меня, будто любишь Симона? А даже если бы любила, ну, так, как принято любить, в общем, так, как любит его госпожа Дюпор...

— Иди спать!

— Тогда тебе и дела бы не было до бессмертной души Симона, ведь ты любила бы в нем именно то, что смертно...

Она подтолкнула меня к лестнице:

— Ступай, ложись потихоньку, не разбуди брата, и чтобы больше я тебя не слышала... Этот мальчик убьет меня.

Я возразил, что еще рано ложиться спать. Я пройдусь по парку.

— Оденься. Хватит с меня одного больного. И когда будешь ложиться, не открывай окна, Лоран кашляет.

— Он часто кашляет по ночам, — сказал я. — Он

кашляет во сне.

— Ты-то откуда знаешь? За всю ночь ни разу не проснешься.

— Я слышал сквозь сон.

Уверен, что этого я не выдумал, помню, как сам был поражен своими словами и вдруг почувствовал страх за Лорана; я хотел произвести впечатление и неожиданно сам стал жертвой своей ворожбы, но тревога моя продолжалась лишь несколько секунд. И вот я снова в молочном сумраке лунного вечера, и я такой же, каким всегда бываю в этот час, стою и впитываю в себя журчание Юра, и тихий шепот ночи, подобной всем другим ночам, и лунный свет, тот самый, что омоет могильный камень, под которым будет догнивать тело, когда-то бывшее мною. Время течет, как Юр, а Юр всегда тут, и пребудет тут вечно, и вовеки не остановит свое течение... Впору завыть от ужаса. А как же поступают другие? Они словно и знать ничего не знают.

Впрочем, я тоже не знал, что наступившая ночь со всеми ее бесчисленными тревогами... Но об этом надо рассказать, ничего не выдумывая, и составить для Донзака точный отчет, протокольную запись. Я вернулся домой. Это было за год до того, как мама решила провести у нас электриче-

ство. Горела одна-единственная лампа, висевшая над бильярдом. Я взял подсвечник и поднялся в нашу комнату, расположенную над маминой, в комнату мальчиков. Большая комната в два окна; наши кровати стояли голова к голове, так что мы с Лораном хоть и ночевали вместе, но даже не видели друг друга, к тому же он обычно вставал на заре. По вечерам, когда мы были еще детьми, он засыпал, сидя за столом, и его часто относили в постель на руках. Последние два года он, как все говорили, «бегал», и теперь уже я спал как убитый, когда он, держа башмаки в руках, тайком прокрадывался в комнату. А утром, когда я просыпался, Лорана и след простыл.

Несмотря на мамин запрет, я твердо решил открыть окно — воздух в комнате был тяжелый. Я не узнал привычного запаха Лорана: от него всегда исходил здоровый запах, хотя и слегка отдававший псиной. У болезни свой особый запах, и я сразу его почувствовал. Лоран спал, он не храпел, но дышал тяжело. Я начал было раздеваться, когда появилась мама в халате, с заплетенной косой. Она подошла к кровати Лорана, осторожно пощупала ему лоб и шею — он и не проснулся — и сказала шепотом, что я не засну, а Лорану может понадобиться ее помощь; лучше она ляжет в мою

постель, а я пойду к ней в комнату. Я не заставил себя просить и, даже не взглянув на брата, спустился вниз, в мамину комнату; она была чуть поменьше нашей, потому что в одном углу устроили туалетную, в другом — гардеробную, между ними образовался альков, где и стояла кровать. Я с наслаждением открыл окно и скользнул в постель, в которой был зачат. Странная мысль, завораживающая и в то же время невыносимая, я прогнал ее, движимый привычкой, сохранившейся от моей прежней детской нетерпимости, когда я верил, что одна-единственная дурная мысль ставит под угрозу наше вечное спасение.

Чтобы победить искушение, я прибегнул к средству, которое помогало мне незаметно погрузиться в сон, — стал рассказывать себе историю: я всегда что-нибудь сочинял. История, которую я сейчас придумал, очень мне понравилась. В тот год я впервые прочел в «Человеческой комедии» Бальзака «Блеск и нищету куртизанок»; самоубийство Люсьена де Рюбампре в тюрьме несказанно огорчило меня, и я пересочинил его историю: Люсьен де Рюбампре не был скомпрометирован и не попал в тюрьму. Карлосу Эррере удалась его затея, он выманил у барона Нусингена огромную сумму, необходимую для женитьбы

Люсьена на дочери герцога Гранлье. Я преодолел все препятствия. Благодаря поддержке герцога и Карлоса Эрреры Люсьен получает назначение при посольстве в Риме; венчание происходит тайно в часовне посольства, таким образом, в Париже никто ничего не знает и все, что может повредить Люсьену, устранено. Через некоторое время Карлос Эррера принимает решение «умереть» и снова превратиться в беглого каторжника Жака Колена. Он притворяется, будто поражен злокачественной опухолью. Все уверены в его скорой смерти. Он ложится на операцию в частную клинику в Швейцарии, зависящую от его банды. Труп другого оперированного выдают за труп Карлоса Эрреры, и Жак Колен сматывает удочки... А я скольжу, погружаюсь в глубокий, крепкий сон, где кишит великое множество людей, и вынырну из него только утром, когда первый луч солнца проникнет ко мне сквозь решетчатые ставни.

Но на этот раз я проснулся среди глухой ночи, чувствуя себя потерянным в чужой постели, от которой пахло мамой. Я сразу понял, происходит что-то неладное. Да, я сразу понял, что дело неладно. На лестнице раздавались торопливые шаги, никто не заботился о тишине, хлопали двери.

Что-то случилось наверху, у меня над головой. С Лораном? Слышался звон тазов и кувшинов — я успокоился: должно быть, его тошнит. Я повернулся к стене. В это время вошла мама, держа в руке лампу, ярко освещавшую ее крупное серое лицо и всклокоченные волосы. Она остановилась на пороге:

— Послушай... лучше, чтобы ты знал... У Лорана открылось кровохарканье, и остановить его не удается. Доктор Дюлак и настоятель сейчас при Лоране.

Я порывался встать, но мама умолила меня не двигаться до рассвета.

— Утром ты поедешь к барышням в Жуано. Надо бежать, бежать, — твердила она как потерянная. — Я вздохну спокойно, только когда ты будешь далеко.

— Но Лоран...

— Речь идет уже не о Лоране, а о тебе.

— Но, мама, Лоран? Лоран?

Она стояла в оцепенении, держа лампу в руке, длинная седая прядь пересекала ее лоб. Она смотрела на меня горящими глазами.

— Молись за своего бедного брата, но первый наш долг — изолировать тебя. Дай бог, чтобы не было поздно. Когда я подумаю, что все эти годы

ты жил с ним в одной комнате, и в Бордо, и в Мальтаверне... И даже прошлую ночь вы дышали одним воздухом.

— А Лоран, мама?..

— Мы сделаем все возможное и невозможное, ты сам понимаешь. Завтра будет консилиум. Но лучше, чтобы ты знал... — Она заколебалась: — Доктор считает...

Потом, прервав себя, снова обстоятельно стала говорить о том, что она решила относительно меня. Словно бы несчастье имело отношение только ко мне, словно все его значение и последствия касались меня одного. Я уеду, не взяв с собой ни белья, ни одежды, только в том, что на мне: ведь все мои вещи находятся в зараженной комнате.

— Я даже не поцелую тебя на прощание, и, разумеется, ты не подойдешь к комнате Лорана. Да он и не в состоянии... Лучше, чтобы ты не видел его таким в последний...

— Нет, не в последний, мама, не в последний раз!

— Да, да! Ты ведь знаешь, я всегда все вижу в черном свете. Пойду приготовлю тебе кофе. Поспи еще немного.

Я не стану сопротивляться, я буду делать все, что она захочет. Она сумела напугать девятна-

дцатилетнего юношу, как пугала маленького мальчика, чтобы он слушался. Была в Мальтаверне комната, кровать, где умер наш дедушка, а в Бордо была комната, кровать, где умер наш папа. Теперь здесь будет комната, кровать, где Лоран... Он вышел вдруг из своего ничтожества последнего ученика в классе и начал во мне свое новое существование. Не помню, чтобы он когда-нибудь произнес хоть одно слово, не имевшее отношения к вяхирям, к бекасам, к зайцам или его собакам. Он готовился в Гриньонскую высшую школу, но сельскохозяйственная наука интересовала его не больше, чем латынь или древнееврейский язык. Он любил повторять: «В нашей семье я буду крестьянином...» Но Мальтаверном он не интересовался.

— Все я должна делать сама! — жаловалась мама, но не потерпела бы, если бы мы хоть раз сунули нос в ее дела, вернее, в наши, поскольку Мальтаверн принадлежал нам, а она была только опекуншей.

Так блуждала моя мысль, пока вдруг не остановилась, словно споткнувшись: «Теперь не будет никого, кроме меня, я останусь один в Мальтаверне, я и мама». Да, это вдруг пришло мне на ум, но, видит бог, я не обрадовался, потому что быть

не могло, чтобы мама не подумала о том же, чтобы она с ее маниакальной страстью к земле хотя бы смутно этого не ощутила. Она боготворила землю, но совсем не так, как я, она ненавидела разделы... Донзак, для которого я пишу, поймет все без моих объяснений; все это еще не было мне ясно в ту зловещую ночь, ничто еще не было высказано, принято, признано. На эти ночные часы я как бы накладываю решетку моих мыслей в той связи и последовательности, в какой они сложились за последующую неделю, которую я провел у барышень в Жуано.

В ожидании рассвета я растянулся одетый на маминой постели. Мама пришла еще раз, но не переступила порога комнаты, она принесла мне кофе и сказала, что Мари Дюбер гладит мое белье и соберет для меня все необходимое. Мне оставалось только уложить книги и свою писанину, как называла мама все, что я писал. Я задремал. В полусне я услышал, как протарахтели колеса двуколки Дюбера. Вошла Мари с подносом, повязанная черным старушечьим платком, сама вся черная лоснящейся чернотой куриных перьев и вообще смахивающая на курицу своим испуганным взглядом и подпрыгивающей походкой. После бегства Симона, которому Дюберы немало

способствовали, мама разговаривала с ними, лишь чтобы отдать какое-нибудь приказание. Мари уверила меня, что Лоран сейчас задремал и мадам от него не отходит. Доктор вызвал сестру из Базасской больницы. Мари причитала: «*Ah! Lou praou moussu Laurent!*»[22]. У Дюберов любимцем был он: «*Ah! Lou praou!*»

Никогда не прощу себе, что удрал из родного дома, так и не повидав умирающего брата. Мама была на страже и не допускала меня в комнату, но я все же заглянул в приоткрытую дверь и в неверном, мигающем свете ночника на секунду увидел передвинутую мебель, разбросанное по полу белье. Я подчинился. Все произошло так, как решила мама. В девятнадцать лет я позволил ей обращаться со мной, как с младенцем. Я слабо возражал, она даже не слушала. Она говорила:

— Как только минует кризис, ты его увидишь. Обещаю тебе Я сразу же пошлю за тобой. Ты поговоришь с ним издали, все будет хорошо. Мы уложим его в саду, на солнышке. Сосновый лес в таких случаях — самое целебное.

О! Это сентябрьское утро, запах тумана... Я-то не умру, я буду жить. Мама уже отправила барыш-

---

[22] Примечания: 22
Ах! Бедный господин Лоран! *(франц. диал.).*

ням письмо, предупредив их о моем приезде и сообщив о нашем несчастье. Мадемуазель Луиза и мадемуазель Адила поджидали меня в полном смятении: нечаянная радость моего приезда, сострадание, горе — все смешалось. Но радость преобладала, особенно у мадемуазель Адилы, обреченной на одинокое существование рядом с глухой сестрой, «которая все понимает по движению губ», в семи километрах от местечка, в этом затерянном уголке, где обрывалась единственная дорога, а дальше, до самого океана, раскинулись обширные пустынные ланды. Одна из самых старых ферм на краю огромного просяного поля. Мне приятно думать, что мы тоже родом с такой фермы. Этим утром жаворонки заливались над полями, жаворонки, в которых никогда больше не будет стрелять Лоран. Еще на рассвете для меня открыли большую комнату, где попахивало плесенью; там, как я знал, отец барышень, разорившись, покончил с собой, но никто не знал, что я это знаю. Я разложил на столе бреншвигова Паскаля, машинописную копию «Действия» Мориса Блонделя, которую дал мне почитать Донзак, «Материю и память» Бергсона и тут же пошел рыться в книжном шкафу «общей гостиной», который, бывало, в детстве доставлял мне такое счастье,

какого не узнать тому, кто не испытал великого чуда чтения, когда ничто во внешнем мире не способно смутить гладкую поверхность летнего дня каникул, когда реальный пейзаж сливается с воображаемым и даже запах дома проникает в тебя и остается там навеки, на долгие, долгие годы, хотя уже и самого дома не существует.

Не Бергсона я читал теперь, не Паскаля, не «Летопись христианской философии», а «Детей капитана Гранта», «Таинственный остров», «Без семьи». И тем не менее комната Лорана, в трагическом свете ночника, такая, какой увидел я ее в приоткрытую дверь, не выходила у меня из головы. Я не забывал о ней ни на минуту, в ней черпал я свою тоску, свое горе, но, может быть, также и счастье ощущать свои девятнадцать лет и бьющую через край жизнь.

Я услыхал, как мадемуазель Адила, которая привыкла, разговаривая с сестрой, орать во все горло, сказала кухарке:

— Если случится несчастье, вот будет завидная партия — господин Ален с его тремя тысячами гектаров...

— Э! Так-то оно так, но, пока жива его мамаша, хозяйкой будет она...

— Молчи уж, — крикнула мадемуазель Адила.

— У его матери хватит и своего добра — чуть не тысяча гектаров, дом в Ноайяне, да и наличными бог знает сколько!

— Да, но...

Я вышел, чтобы больше ничего не слышать. Лоран был жив, он жил. Мама любит нас обоих. Днем приехал господин настоятель и сообщил мне новости:

— Твоя мать, как всегда, достойна восхищения. Полночи она не отходила от Лорана, чтобы сестра милосердия могла поспать. Она решила не видеться с тобой даже издали. Она идет на эту жертву. Увы, ждать осталось недолго.

В этот день я впервые услышал роковые слова: «Скоротечная чахотка». Я услышал, как отдается во мне ее стремительное течение, навсегда уносящее моего старшего брата во тьму, куда последую за ним и я, может быть, не так скоротечно, а простым шагом; но как бы медленно я ни продвигался, все равно в конце концов уподоблюсь старику из Лассю со своими тремя тысячами гектаров и сворой нетерпеливых наследников, которых я буду ненавидеть и, так же как он, гнать от себя. Ужас собственности. Собственность — абсолютное зло. Что делать, как избавиться от нее? Я охотно отказался бы от всех благ мира сего, но

только не от самого мира, только не от языческой радости, которой я упивался в тот день под дубами Жуано, пока моего брата уносило стремительное течение в ночь, не знающую конца.

На следующий день я нежданно-негаданно воочию увидел в доме у барышень микроб собственности — отвратительную десятилетнюю девчонку Жаннетту Серис, их наследницу, которая в этом качестве приезжала гостить к барышням и принимать поклонение фермеров. Нелепей всего было то, что это чудовище, единственная дочь в семье, рано или поздно окажется обладательницей одного из самых больших поместий наших ланд, в котором именьице барышень затеряется, как капля воды в море. Но для этих ненасытных пожирателей земли каждый гектар имел значение. Мне Жаннетта внушала ужас. Иссиня-бледная, конопатая девчонка — казалось, что и на месте глаз, лишенных бровей и ресниц, поблескивают две из ее бесчисленных веснушек. Круглая гребенка придерживала надо лбом зачесанные назад жидкие волосы. Детей фермеров приводили к ней играть. Они подчинялись ей, как мужицкие дети маленьким боярам во времена крепостного права. На следующее утро, проснувшись, я услыхал, как мадемуазель Луиза кричит

мадемуазель Адиле: «... да между ними невелика разница, меньше десяти лет. Он подождет!» Мадемуазель Адила, должно быть, ответила только движением туб, я ничего не услышал. Глухая продолжала орать: «Без разрешения матери он не женится. Будет ждать сколько нужно...» О боже! Речь шла обо мне и Жаннетте. Об этом поговаривали в округе, как некогда о помолвке французского дофина и испанской инфанты. Но на сей раз имели в виду меня одного: Лорану эта опасность больше не грозила. В том, что для мамы все было решено, я не сомневался. И в довершение всего девчонка за мной бегала, она, это страшилище, со мной заигрывала. Значит, и она об этом думала. Именно в те дни я впервые устыдился своего невежества, своего безразличия ко всему, что касалось социальных вопросов. Я решил прочесть Жореса, Геда, Прудона, Маркса[23]... Для меня это были только имена. Однако

[23] Примечания: 23

Жорес Жан (1859 — 1914) — деятель французского и международного социалистического движения, борец против колониализма, милитаризма и войны, философ, историк.

Гед Жюль (1845 — 1922) — один из основателей французской Рабочей партии, деятель II-го Интернационала, пропагандист марксизма.

Прудон Пьер (1809 — 1865) — французский экономист, теоретик анархизма, идеолог мелкой буржуазии.

Маркс Карл (1818 — 1883) — немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный деятель.

что такое собственность, я знал лучше, чем они. Пусть даже она воровство, на это мне плевать, но она развращает, бесчестит людей.

ГЛАВА IV

Спустя два года я начинаю в Бордо новую тетрадь. Первую Донзак выпросил у меня и увез в Париж, где он поступил в кармелитскую семинарию. Ради него я снова решаюсь продолжать этот дневник. Дневник? Нет, это стройный, упорядоченный рассказ о том, что я черпал день за днем в нашей с мамой истории в течение этих двух лет. Но прежде всего это попытка понять, кем же я стал после смерти Лорана.

Кем я стал? Стал ли я другим? Юноша двадцати одного года, который готовится в Бордо к диплому лиценциата словесности, — чем отличается он от подростка, каким я был когда-то? Он тот же и обречен оставаться тем же, если только я не умру молодым, как Лоран. Старик из Мальтаверна, который живет во мне, займет в негласной истории больших ланд место старика из Лассю, но и в восемьдесят лет он останется точно таким же, каким являюсь я сейчас, а какой-нибудь мальчишка — поэт 1970 года — будет издали смотреть на него, неподвижно сидящего у порога и словно превратившегося в неодушевленный предмет.

Смерть Лорана изменила не меня, а условия моего существования. Несколько месяцев я провел в каком-то оцепенении. Мама все взяла на себя, ее чувства ко мне сосредоточились на заботе о моем физическом здоровье. У меня было «затемнение в левом легком». Она не успокоилась, пока не добилась для меня освобождения от военной службы. Я был рад этому, хотя и сгорал от стыда. В конце концов я стал еще более нелюдимым и злился на маму. Она же, избавившись от своих волнений, с каждым днем все больше и больше погружалась в дела Мальтаверна. И так как в том году мы купили автомобиль марки «дион-бутон», она то и дело отправлялась на несколько дней в деревню. Расстояний больше не существовало. Еще в прошлом году, чтобы попасть в Мальтаверн поездом, приходилось делать две пересадки. Уже под сводами Южного вокзала мы чувствовали себя оторванными от дома. Большие ланды, единственная моя отчизна, были далеки, как звезда. А теперь я знал, что она начинается сразу же по выезде из Бордо, и по шоссе, если не подведет мотор и если мы не разобьемся, можно за каких-нибудь три часа покрыть сотню километров, отделяющую Бордо от Мальтаверна.

Я пишу о чем попало, лишь бы не касаться на-

болевшей раны, которая мучительно ныла после того, как уснул Лоран. Что произошло между мамой и мной? В чем я могу ее упрекнуть? Она все берет на себя, освобождает меня от всего. Когда она, как сейчас, находится в Мальтаверне, я пользуюсь в Бордо свободой, какой не знал никогда ни один студент, — кухарка и дворецкий в полном моем распоряжении. Если я не способен воспользоваться этой свободой, то уж никак не маму я должен упрекать.

— Почему у тебя нет друзей? Почему ты отказываешься от приглашений или подпираешь стену во время танцев?

Я не танцую потому же, почему не охочусь. Это все одно и то же...

Нет, совсем не одно и то же. То, что я сейчас расскажу, уже пережитое, а не история в ее становлении, хотя история все еще продолжается. Донзак сумеет уловить разницу между истолкованным и обработанным мною документом и тем, что изо дня в день, из страницы в страницу принимает облик неизбежной судьбы. Донзак сумеет истолковать ложь, которой оборачиваются мои умолчания, и, без моего ведома, превратит ее в правду, ту правду, которую я сам хотел бы вырвать из себя, которой я домогаюсь с пугающей

меня страстью, пугающей потому, что речь идет о маме, потому что ее я постепенно разоблачаю, и по мере того, как раскрывается ее истинный образ, мне становится страшно.

Но теперь я больше не один. Я больше ей не подвластен. Явился некто. Некто. Все началось в книжной лавке Барда, в Пассаже, соединяющем улицу Сент-Катрин с площадью Комеди. Я не сразу набрел на эту мрачную пещеру, заваленную книгами. Моим книготорговцем был Фере, на Интендантском бульваре. У Барда издания «Меркюр де Франс» занимали лучшее место. Литература здесь была в чести. На витрине лежали книги современных поэтов.

Я заходил сюда по пути из университета почти каждый день, после того первого дня, когда, просматривая новую книгу — «Имморалист»[24], так погрузился в чтение, что вздрогнул от неожиданности, услыхав у себя над ухом женский голос.

— Даже если у вас нет лишних денег, советую вам ее купить. Это первое издание, а первые издания Андре Жида...

Я поднял глаза и увидел в полутьме этой пещеры мадемуазель Мари, которая продает книги и

---

[24] Примечания: 24

Повесть французского писателя, лауреата Нобелевской премии Андре Жида (1869 — 1951).

вообще хозяйничает в магазине (сам Бард сидит за кассой, а Балеж, горбатый приказчик, делает всю черную работу). Мадемуазель Мари в своем темном халате старается быть незаметной, но только не для тех, на ком остановит она взгляд, как, например, в тот первый день остановила на мне. И какой взгляд! Нежный, и вместе с тем насмешливый, и пугающе-проницательный. Ее привлекло и тронуло во мне, как всех, кто меня любит, именно то, что отталкивало всех прочих. Я, однако, обманул ее, сам того не желая. Я так люблю книги и так мало их покупаю, я так долго колеблюсь, прежде чем решиться на покупку, — одним словом, я настолько не способен израсходовать хотя бы франк и к тому же так плохо одеваюсь — всегда в одном и том же галстуке тесемочкой, — что она приняла меня за бедного студента. Потом я узнал, что ее все же удивило мое пальто, хотя изрядно поношенное, но явно сшитое на заказ, и дорогой кожаный портфель с инициалами. Но трудно было предположить, что у меня есть карманные деньги. Она решила, что я сын каких-нибудь сельских жителей, разорившихся или скупых, и отложила для меня несколько первых изданий.

— Заплатите в следующем месяце, — сказала

она.

Я не стал разубеждать ее, и, конечно, не из дурных побуждений. Может быть, это был стыд? Нет, скорее, счастье чувствовать себя любимым за самого себя, знать, что могу понравиться такой замечательной девушке, и не подозревающей во мне наследника Мальтаверна. В редкие вечера, когда мама посылает меня взглянуть, как танцуют другие, я отлично знаю, что все смотрят на меня одинаковым взглядом — невидимый ярлычок пришпилен к моему смокингу: тысячи гектаров ланд, недвижимое имущество. Одна и та же искательная улыбка у всех, одни и те же потуги поговорить «о том, что считается интересным». А представление этих дурочек об «интеллектуале»!.. Нет, даже думать об этом не хочется. Достаточно, если Донзак поймет, каким неожиданным счастьем с первого же дня стала эта девушка, с такой любовью смотревшая на бедного студента, за которого она меня принимала. Мое нежелание показываться с ней вместе на улице — это я узнал впоследствии — она объяснила боязнью скомпрометировать ее, таким ангелочком я ей показался; потом мы немало смеялись над этим. Но истинной причины я ей не открыл, да и сам не очень был в ней уверен. Дело

было, конечно, и в том, что стоит нам выйти из темного грота книжной лавки, как миф о бедном студенте рассеется, но главное было то, что я не отделял Мари от книжной лавки, с которой сам соединил ее, так же как не отделял мадемуазель Мартино от ее скакуна.

Я был защищен от нее и вместе с тем мог наслаждаться ею, как будто видеть ее в волшебном полумраке книжной лавки уже само по себе было для меня наслаждением. Тут не вставала передо мной ни одна из тех гнусных проблем внешнего мира, которые я, разумеется, не в силах был разрешить.

Такое положение могло бы длиться вечно, хотя бы потому, что Мари сама его приняла; оно отвечало тому образу, который она создала в сердце своем, тому моему свойству, которое она называла *noli me tangere*[25]. Если бы не случайная встреча... Но я не верю в случай, а совпадения, пожалуй, доказывают, что в нашей жизни и в самом деле все предопределено.

Хотя душой книготорговли Барда была Мари, хозяин и Балеж не одобряли того, что она разрешает многим клиентам, а я был в числе

---

[25] Примечания: 25
Не тронь меня *(лат.)*.

постоянных, рыться в книгах, которых они не покупали. Благодаря ей книжная лавка приобрела облик описанной в романе Анатоля Франса[26] «Под вязами» книготорговли Пайо, где господин Бержере каждый день встречался со своими друзьями. Мари рассказала, что ей пришлось особенно горячо защищать меня и еще одного молодого учителя из Таланского лицея, который проводит у Барда все вечера по четвергам, в единственный свой свободный день. Как раз в этот день я никогда не появлялся у Барда: по четвергам книжная лавка была набита битком.

— Он такой же нелюдим, как вы, он ни с кем не знаком...

— Но он знаком с вами, — возразил я не без досады.

Моя досада вызвала у нее улыбку, она решила, что я ревную. Было ли это так? Во всяком случае, я почувствовал ревность, едва лишь напустил на себя страдальческий вид: я полагал, что влюбляются механически, так же как, согласно Паскалю, становятся истинно верующими.

---

[26] Примечания: 26

Франс Анатоль (1844 — 1924) — французский писатель и литературный критик. Член Французской академии. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1921), деньги которой он пожертвовал в пользу голодающих России.

Меня беспокоил возраст неизвестного соперника. Он был на несколько лет старше меня. Он внушал ей жалость полным своим одиночеством и безнадежной горечью, которая проскальзывала в его речах, казалось, в юности он пережил какое-то непоправимое несчастье. Она говорила о нем с сочувствием, возраставшим по мере того, как возрастало мое огорчение, на сей раз непритворное; я действительно был огорчен, и вскоре Мари не выдержала. Мы были с ней одни, скрытые от чужих глаз полкой с подержанными книгами. Впервые она взяла мою руку и удержала ее в своей.

— Подумать только, — сказала она, — я даже не знаю, как вас зовут. Я знаю лишь первую букву, я видела инициалы на вашем портфеле. Какие же имена начинаются на А?.. Вас ведь зовут не Артур, не Адольф? А может, Август? Или Августин?

Я почти коснулся губами ее маленького ушка. «Ален...» — прошептал я, словно речь шла о величайшей тайне, и она повторила: «Ален», будто боялась забыть. Я спросил:

— А как вы меня называли, когда думали обо мне?

— Никак не называла. В те дни, когда вы не приходили, я думала: «Сегодня ангел не пришел...»

— Ах, — вздохнул я, — и вы тоже?

Я вспомнил те сумерки в Мальтаверне, когда Симон сказал мне: «Вы — ангел». Да, я подумал о нем именно в тот момент, когда он вот-вот должен был снова возникнуть в моей жизни! Мне самому это кажется настолько странным, что я подозреваю, уж не придумал ли я, сам того не сознавая, эту историю и так складно ее построил? Но нет, все произошло именно так. Помню, я бросился к выходу, даже не попрощавшись, а Мари шла за мной, повторяя вполголоса:

— Что с вами? Что с вами? Я не хотела вас обидеть...

— Девушки не любят ангелоподобных юношей, — сказал я. (Мы стояли с ней рядом, у порога. Ни одного покупателя в лавке уже не было.) — Впрочем, они правы

— Потому что есть злые ангелы? — спросила Мари. Она деланно засмеялась, пытаясь рассеять возникшее между нами облачко.

— Нет, злого ангела они бы любили. Он причинил бы им страдания...

— Ну, смотря какие девушки, — сказала она. — Мне никогда не нравились грубияны. Я всегда их боялась.

— А я кажусь вам безопасным.

— Вы обижаетесь на каждое мое слово.

— А этого учителишки из Таланса, который приходит по четвергам, вы не боитесь?

— Ах, так это из-за него вы терзаетесь! Бедняга он, я изо всех сил стараюсь, но, кажется, безуспешно, скрыть от него свое отвращение. Я даже заставляю себя брать его за руку, мне даже удается удержать ее на несколько секунд в своей. Вы не поверите, но у него по шесть пальцев на каждой руке. Если б вы знали, как противно прикасаться к этому мягкому отростку, к этому хрящику, бр-р...

Я прислонился к витрине. Я спросил:

— Симон? Он в Бордо?

— Вы его знаете? Откуда вы его знаете?

— А известно ли вам, что и на ногах у него тоже по лишнему пальцу? Ну что ж, Мари, в четверг скажите ему, что одного из ваших клиентов зовут Ален и что он ангел, тогда вы узнаете все обо мне, о моей матери, о моем детстве, откуда я родом — Симон Дюбер тоже из тех мест. Сам я сегодня не стану говорить с вами о нем, я не могу это сделать, не посвящая вас во все подробности моей несчастной жизни, а это мне не под силу. Пусть уж он расчистит дорогу... А я только дополню его показания. После того как он все расскажет, мне

легче будет ввести вас в ту историю, которая, в общем-то, никому не интересна.

Она прошептала:

— Кроме меня.

Затем я выслушал то немногое, что она знала о Симоне. Он не вынес жизни в Париже и, едва защитив диплом, получил с помощью влиятельных покровителей, которыми очень гордился, назначение в Бордоский округ.

— Но он уверяет, что здесь его одиночество было бы еще ужаснее, чем в Париже, если бы он не встретил меня.

— А к своим родным он не ездит?

Об этом она ничего не знала. Он никогда не говорил о родных, как будто стыдился их. Я подумал, что, появись он в Мальтаверне, моя мать не могла бы не знать о его приезде. Я сказал «до свидания», толкнул дверь. И вдруг подумал о предстоящем мне вечере и содрогнулся. Все, что мешало мне выходить на улицу вместе с Мари, исчезло бесследно. Скоро она все узнает обо мне и моей семье. Я даже не спросил, свободна ли она, я сказал:

— Не оставляйте меня одного сегодня. Мама в деревне. Она покинула меня. Я вам все расскажу.

Мне хотелось встревожить Мари, но ее радость

заглушала всякую тревогу. Она попросила проводить ее до дому:

— Я забегу на минутку, только предупрежу маму и переоденусь.

Магазин закрывался через полчаса. Мы условились встретиться у «Гран-театр».

Это было первое мое свидание, и шел мне двадцать второй год! Сегодня вечером я буду не один. Я зашел в кафе и позвонил Луи Ларпу, нашему дворецкому, что пригласил к обеду приятельницу. Воображаю его изумление. «Даму, господин Ален?» — «Да, даму». — «Боюсь, что приготовлен только один бифштекс для вас, господин Ален». — «Откройте банку гусиного паштета и подайте бутылку вина по своему усмотрению».

Я ждал в тумане, перед дверью одноэтажного домика на улице Эглиз-Сен-Серен, где жила Мари, пока она переодевалась. Когда она появилась, это была она и не она, ускользнувшая из темной книжной лавки, от своего ремесла, а я впервые в жизни гордо выступал, ничем не отличаясь от других молодых людей в этот ноябрьский вечер, навсегда оставивший во мне свой аромат. Я торопился попасть на площадь Гамбетты и Интендантский бульвар — решусь ли признаться? — да, чтобы меня увидели с этой молодой жен-

щиной. Я все же спросил у Мари:

— Вы не боитесь, что вас увидят на бульваре в сопровождении молодого человека? А не то мы можем пойти в обход переулками...

Она рассмеялась:

— О! Я, знаете ли... Скорее я могу вас скомпрометировать...

Я сказал, что мы родом из Базаса и в Бордо у нас мало знакомых. Надо было, однако, за десять минут пути до улицы Шеврюс, где я жил, подготовить ее к роскошной квартире, к дворецкому.

— У нас две тысячи гектаров сосновых лесов, вот что! — брякнул я самым дурацким образом. Эта цифра, казалось, не произвела на нее впечатления. Я добавил совсем уже глупо: — Не считая всего остального.

— Хвалиться тут особенно нечем.

— Я не хвалюсь, но я скрывал все это от вас. А теперь надо же вас предупредить.

— Нет, Ален, это меняет дело. Я не буду обедать в доме вашей матери в ее отсутствие и без ее ведома. Я поведу вас в маленький ресторанчик в порту, к Эйрондо.

Я возразил, что это невозможно, что я позвонил домой, заказав достойный такой гостьи обед.

— Ну что ж, вы можете позвонить от Эйрондо и

отменить свои распоряжения.

— Вы не знаете Луи Ларпа, нашего дворецкого. Я никогда не решусь... Он открыл банку гусиного паштета. Для него это священнодействие. Кроме того, я ненавижу телефон. Я позвонил ради вас, но никогда к этому не привыкну. Я почти не пользуюсь телефоном.

— И вам не стыдно?

— Да, стыдно. Мама всегда твердит: «Каким бы умником ты себя ни считал, ты просто жалкий трусишка».

— Я вижу, что появилась вовремя.

— Вы меня презираете...

— Нет, почему же? Несмотря на ваши тысячи гектаров, вы никогда не примиритесь с этим миром, вы никогда не станете одним из них... Я встречаю их в книжной лавке, правда немногих: ведь читать они не любят. Но иногда попадаются клиенты, которые собирают редкие издания. Я наблюдаю за ними: книжный прилавок — это вроде баррикады! Я их выслушиваю, исподтишка слежу за ними, я их знаю.

— Но меня, Мари, вы не знаете. А когда узнаете...

Мы сидели в самом дальнем углу ресторанчика — раньше здесь, наверно, был матросский ка-

бачок, а теперь сюда забегали поесть ракушек, миног или — в грибной сезон — белых грибов. Мари подошла к стойке, чтобы позвонить ко мне домой. Она вернулась, смеясь до упаду, я и не знал, что она умеет так смеяться:

— Успокойтесь! Я слышала, как дворецкий крикнул кухарке: «Он все отменяет! Хорошо, что я не открыл паштет». Ну как, успокоились?

— Я просто смешон, — проговорил я жалобно.

Когда я размышляю об этом вечере, меня поражает мое жадное желание излить свою душу — нескромность, с какой я, не умолкая, говорил о себе, как будто этой молодой женщине или девушке, которую я совсем не знал, нечего было рассказать мне о своей жизни, словно само собой разумелось, что из нас двоих интерес представляю только я один. Она слушала меня весь вечер, не задавая иных вопросов, кроме тех, в которых я нуждался, чтобы окончательно освободиться от душивших меня признаний.

— Симон Дюбер вам расскажет больше, чем решусь я сам...

— Если хотите, я не стану говорить с ним о вас.

Я возразил, что, напротив, хотел бы, чтобы наш враг — а он стал нам врагом — описал Мальтаверн в самых черных красках.

— Обо мне, впрочем, он не скажет плохого, если только сам не переменился: меня он любил. — Помолчав, я спросил: — Признался он вам, что учился в семинарии, что носил сутану?

— А, теперь я понимаю, почему у него такой неприкаянный вид. Священники мяли и месили его, а потом выбросили на свалку...

Я поколебался, прежде чем спросил:

— Мари, существует ли для вас религия?

— А для вас, Ален? Я спрашиваю, хотя и знаю ответ.

Откуда она узнала? Я настаивал:

— Но вы, Мари?

Она сказала:

— Я — это неинтересно. — Потом добавила: — Для меня игра кончена, все мои карты биты — мне двадцать восемь лет. Сообщаю вам свой возраст, чтобы вы не подумали, будто я способна мечтать о вас.

Я спросил:

— Почему бы и нет? — и вдруг вскочил, словно в панике: — Уйдем отсюда!

— А счет, мой дорогой Ален!

Когда мы вышли на уже обезлюдевшую набережную, где навстречу нам попадались одни лишь подозрительные личности, я почувствовал

желание поскорее вернуться на площадь Комеди. По вечерам случалось немало нападений на улицах, особенно после полуночи. Мари сказала, смеясь, что я выпил один чуть не всю бутылку «марго» и поэтому она не слишком доверяет всему, что я наговорил о Мальтаверне.

— Нет, верьте мне. Мари. Впрочем, вы сами убедитесь, что такую историю никто не может придумать, и к тому же Симон вам все подтвердит. При жизни моего брата я думал, да и все остальные думала, что любимцем матери был я. Мое счастье было в том, что я в это верил. Когда Лоран нас покинул, мне в голову пришла постыдная мысль, к которой я несколько раз возвращался не без удовольствия: я подумал, что теперь остались только она и я. Да, я был способен на такую мысль: теперь никто больше не встанет между нами. Но все обернулось иначе; очень скоро я убедился, что никогда, ни в какой момент моей жизни я не был так далек от нее, что никогда еще мы не были так чужды друг другу. Но не человек стоял между нами, вы не поверите — между нами стояла собственность.

— Какая собственность? — устало спросила Мари больше из вежливости, чем из интереса.

— Наша, я хочу сказать — моя, потому что

Мальтаверн достался нам от отца, а теперь я унаследовал и часть, принадлежавшую Лорану. Но мама управляет всем, я передал ей мои права, и она чувствует себя полновластной хозяйкой. Разумеется, я знал ее любовь, нет, не к земле, в том смысле, в каком люблю ее я, а к собственности...

— Какой ужас! — сказала Мари.

— Нет, это не так низменно, как вы думаете. Это стремление к владычеству, стремление править необъятными пространствами...

— ...Править рабами. Вы сохранили рабство. О, проводите меня домой. Я боюсь возвращаться одна...

— Но сам-то я, Мари, во всей этой истории я тоже только жертва. Конечно, я провожу вас, но выслушайте меня: при жизни Лорана, пока мы были детьми, мамина страсть к собственности не так бросалась в глаза. Мама была нашей опекуншей, забота о земле была ее прямой обязанностью. Я думаю, главное, что изменило наши отношения после смерти брата, была уверенность в том, что теперь раздела не будет, что империя останется нерушимой.

— Это чудовищно.

— Еще более чудовищно, чем вы себе представляете. Один из наших соседей по Мальтаверну

— Нума Серис, дальний наш родственник, — владеет самым крупным поместьем в округе после нашего. Он вдовец, его жена умерла от горя, он ее уморил...

— От горя не умирают, — сказала Мари с раздражением.

— Как выдерживает Нума Серис аперитивы, коньяки и вина, которые поглощает с утра до вечера и считает единственной своей усладой, — эта тайна меня мало интересует. Но я всегда удивлялся, зачем к нему ездит мама. Она уверяла, что ей необходим его совет при продаже леса или в спорах с фермерами. Но в скором времени я открыл, что связывает ее с этим гнусным типом. У него есть препротивная дочка, которую мы ненавидели, Лоран и я. Зовут ее Жаннетта, но иначе, как Вошка, мы ее не называли. Помню, Лоран незадолго до смерти сказал: «Мне повезло, я слишком взрослый, чтобы жениться на Вошке. На Вошке женишься ты». И злая шутка неожиданно превратилась в прямую угрозу...

— Почему же в угрозу? Ведь вы не маленькая девочка, которую силком выдают замуж. Признайтесь честно: в душе вы отчасти сообщник вашей матери, сам мечтающий об этом мерзком союзе, и его-то, этого сообщника, вы и боитесь.

Мы стояли перед ее дверью. Она держала в руках ключ. Она сказала:

— До свидания, Ален. Не приходите в лавку до пятницы. Накануне я увижусь с Симоном Дюбером. Может быть, все мне представится по-другому.

Дверь захлопнулась. Я остался один на тротуаре, на этой узенькой улочке квартала Сен-Серен. Я примостился на ступеньке крыльца и, упершись локтями в колени, заплакал. Мое отчаяние было непритворным, но, строго говоря, все-таки было игрой. Я упивался собственной скорбью. И тем не менее настоящие слезы текли у меня между пальцев, настоящие рыдания я безуспешно пытался удержать.

Дверь позади меня приоткрылась. Я вскочил. Мари появилась на пороге с лампой в руках. Она еще не успела снять шляпку. Она сказала:

— Хорошо, что я увидела вас в глазок.

Она повела меня за собой, предупредив, чтобы я не шумел, хотя спальня ее матери и выходит во двор. Мы вошли в узкую комнату, очевидно гостиную. Там было холодно и стоял нежилой запах. Кресла были покрыты чехлами. Даже люстра была затянута кисеей. Мари усадила меня рядом с собой на диван. Я продолжал плакать, и

она сказала:

— Какой вы еще ребенок! Вам даже не пятнадцать — вам десять лет! Так и хочется спросить: «Ну как, прошло это страшное горе?»

Она первая обняла меня. Я уткнулся лицом в ямку ее плеча у шеи. Она не шевелилась, словно боялась спугнуть птицу, опустившуюся к ней на палец, а я был потрясен сошедшим на меня покоем и счастьем. Я делал первые робкие шаги. Я позволил наконец себя «тронуть» в прямом смысле этого слова. Я согласился не быть больше «неприкосновенным». Она сначала вытерла мне глаза своим носовым платком, потом прикоснулась к ним губами, положила на них свою прохладную ладонь. И тихонько погладила меня по щеке, больше ничего. Я снова начал говорить, а она — терпеливо слушать.

— Мне стыдно, — сказал я, — что у вас создалось такое страшное представление о моей бедной маме. Я сам вижу, что многое в этой истории неубедительно. Как объяснить вам, что за человек моя мать? Единственный раз, когда я решился сам заговорить о ее планах насчет этой маленькой Серис, изложить ей причины моего отвращения, она не пожелала даже выслушать их. Вам это покажется невероятным, но она совершенно

искренне убеждена, будто все, что я называю физической любовью, не существует для людей особой породы, к которой принадлежим мы, она и я, что все это выдумки сочинителей романов, а на самом деле есть лишь долг, возложенный на женщину творцом для продолжения рода и удовлетворения скотских желаний мужчины; она призналась, что это для нее самое непонятное в сотворенном богом мире. Я согласился, что столь тесная связь души, взыскующей бога, с животной плотью способна привести дух на край пропасти. Мама бурно запротестовала, уверяя, что это испытание, через которое христианину надлежит пройти, а главное, не надо поддаваться соблазну, читая об этом в книгах, заполнивших всю мою жизнь. «Но ты — мой сын, — добавила она, — я знаю тебя и не сомневаюсь, что ты испытаешь такое же отвращение ко всему этому... Ты еще не можешь понять...»

И тут я подумал о своем отце, которого не знал, самом кротком, самом ласковом из людей. Я прошептал: «Бедный папа...» Она ответила едва слышно, не простив ему ничего: «О! Клянусь тебе, он не щадил меня. Я никогда не уклонялась». Я повторил: «Бедный папа». Помню, помолчав немного, я спросил у мамы, не терзает ли ее со-

весть, что она прочит эту несчастную Жаннетту такому мужу, как я, который наверняка станет избегать ее. «Но, дорогой мой, это счастье для нее! После того как она родит тебе сына, ты оставишь ее в покое, и она будет гордиться, что благодаря ей создано поместье, самое значительное в округе по размерам, по качеству земли. И маленькая Серис сможет облагодетельствовать все подвластное ей население, а это единственная законная услада, дозволенная женщинам нашего круга...»

Бедная моя мать! Мари удивилась, почему я не сказал маме, что подобное обожествление земли непозволительно для такой усердной христианки, как она.

— О! На этот счет у нее достаточно резонов, да и выполнение долга оправдывает все. Для мамы зло заключается в вожделении, которого она никогда не испытывала, она называет его похотью и чувствует к этому отвращение. Ей и в голову не приходит, что грех может быть связан с гордыней обладания и власти. Читала ли она когда-нибудь, то есть я хочу сказать, задумывалась ли она над иными словами господа, которые повергают меня в трепет? Нет, неправда, я трепещу не больше, чем она.

И тут мы оба замолчали.

Наконец я прошептал:

— Что сказала бы мама, если бы нас увидела?

— Тебе не холодно?

— Нет, с тобой тепло, как в гнездышке.

Мари тихо проговорила:

— «Первое *ты* с любимых уст слетело...»

Я поправил:

— «Первое *да...*»

Прошло еще какое-то время, она отбросила мои волосы со лба и прижалась к нему губами; теперь пришла моя очередь напомнить ей стихи Верлена[27]: «... порою вас целует в лоб, как малое дитя».

Мы сидели не шевелясь. Вдруг она выпрямилась и обхватила мою голову руками:

— Оставь ее! Да, свою мать, покинь ее, отдай ей все и живи один.

Я печально ответил:

— Никто не может сделать так, чтобы все это перестало быть моим.

— Ты — собственность своей собственности. Ты будешь мужем Вошки!

Я прижался к ней. После долгого молчания я

---

[27] Примечания: 27

Верлен Поль (1844 — 1896) — французский поэт-символист. Ввел в лирическую поэзию сложный мир чувств и переживаний, придал стиху тонкую музыкальность.

сказал:

— Как мне бросить маму? Всю жизнь она была со мной. Пойми, моя драма не в том, что она захватила принадлежавшие мне земли, а в том, что она предпочла их мне.

— В том, что она изменяет тебе с ними!

— Это так, и, может быть, с твоей помощью я в конце концов сбегу от нее.

— Чем я могу тебе помочь, бедный мой малыш? Я могу открыть тебе глаза, то есть сделать еще более несчастным, но не могу вдохнуть в тебя волю, которой у тебя нет...

Я возразил, что благодаря ей уже переменился, я не мог бы и вообразить себя таким несколько недель назад; теперь я понимаю, что вырваться от матери было бы счастьем, но не вижу, каким образом смогу обойтись без нее: ведь я совершенно не способен управлять имением. Разумеется, я дорожу им — я не стыжусь этого — больше всего на свете. Мальтаверн — моя единственная любовь. Но зато земли Нума Сериса для меня ничто. А Вошка внушает мне ужас. Всю жизнь я только и слышу похвальбы матери, что она всегда добивается своего. Если ей приглянулся участок леса, она способна ждать годы, но рано или поздно приберет его к рукам. О продаже каждого клочка

земли нотариус заранее предупреждает ее или Нума Сериса. Они ведут игру вдвоем, по очереди уступая друг другу. Я был главным козырем в их завершающей комбинации, а после смерти Лорана моя мать стремится к ней с такой нескрываемой и бурной страстью, что, по-видимому, у меня нет никакой возможности вырваться из этого плена.

Мари спросила, сколько лет Вошке, и успокоилась, узнав, что ей всего двенадцать.

— Но, бедный мой малыш, в твоем распоряжении по меньшей мере семь-восемь лет, чтобы отразить этот удар, ведь прежде всего ты можешь жениться. Ты не стал бы даже думать о Вошке, не будь ты сыном своей матери и своей земли, они-то и держат тебя, они обе.

— Да, но теперь со мной ты.

Она слегка отстранилась, пропела: «Пора нам расставаться, настало время сна», потом открыла передо мной входную дверь.

Я широко шагал посередине пустынной мостовой.

Радость и сила бушевали во мне, и жертвой их стала моя мать. Теперь вслед за приговором, который я сам ей вынес, словно прорвались с запозданием все копившиеся во мне чувства. Итак,

этот вечер все поставил на свои места: отвращение, скрыть которое не могла Мари, испытывал теперь также и я. Более того, прислушиваясь к своим шагам на ступенях нашей старой парадной лестницы, я чувствовал нестерпимую злую обиду за то, что мама бросила меня одного, это же преступление — не предпочесть меня всему... Но было нечто худшее. Она, эта старая регентша, не задумываясь, предпочла своему сыну счастье управлять его империей, а сына заранее приносила в жертву, мысленно уже принесла в жертву, сочетав его с Вошкой, и нет ей оправдания, нет оправдания, даже если она никогда не знала плотской любви. Ведь она видела, как страдал мой отец. Мой отец! Отец! Нежно любимый незнакомец. Помню, как-то вечером, когда мне было лет десять или двенадцать, я возвращался из коллежа и меня вдруг осенила мысль, что ты не умирал. Не знаю уж, какую я сочинил историю, но выходило так, что ты должен был вернуться после долгого путешествия и сейчас я застану тебя дома. Я бросился бежать как безумный, расталкивая прохожих. Я взлетел по этой самой лестнице, по которой сейчас медленно шагал. Под китайским фонарем мама проверяла Лорана по катехизису. Кресло бедного папы напротив

нее было пусто. Отец, от тебя осталась лишь прибитая над маминой кроватью фотография, увеличенная Надаром[28]...

[28] Примечания: 28

Надар Феликс (1820 — 1910) — французский фотограф, карикатурист, писатель-романист, журналист и воздухоплаватель. Крупнейший мастер фотографического портрета. Фотографии, созданные Надаром, хранятся во многих крупных государственных фотоколлекциях.

ГЛАВА V

Ровно в пять я был в книжной лавке, и, хотя Мари нахмурила брови, я с первого же взгляда понял, что она рада моему непослушанию. Но ее еще осаждали последние покупатели: она велела зайти за ней через полчаса. Шел дождь, я прогуливался, укрывая под зонтиком свое счастье, свою гордость. Я поглядывал на свое отражение в витринах. Теперь я походил не на ангела, а просто на юношу, которого любит девушка. И не первая попавшаяся девушка. Нет, любовь не ослепляла меня: Мари стояла неизмеримо выше своего положения (ох, уж эти буржуазные понятия о положении; что тут удивительного, что Мари на голову выше всех дурочек из нашей среды!). Она была очень начитанна для женщины: в нашей семье дамы обычно читали только романы «Библиотеки легкого чтения». Особенно меня поражало в ней умение судить обо всем и общее с моей матерью стремление руководить и даже главенствовать. Приказчик Балеж без конца твердил:

— Что бы делал хозяин без нее...

В тот день, когда мы встретились под колоннами «Гран-театр», где я поджидал ее, прячась от дождя, а потом отправились в кафе на углу улицы Эспри-де-Луа, пропитанное ненавистным мне запахом абсента, она поведала мне со своей ясной, почти резкой манерой то, что, по ее мнению, я должен был знать о ней:

— Я уже говорила, я не строю никаких тайных планов на твой счет, это для меня невозможно, никогда не стану я мечтать о том, о чем мечтают все девушки, которые любят и любимы...

Ее отец, сборщик налогов из Медока (я припомнил эту историю), бросил свою жену, стал играть, растратил несколько миллионов; его нашли повесившимся в каком-то сарае.

Что делать? Что сказать? Я неловко взял Мари за руку, она ее убрала. Потом твердо продолжала:

— Но я еще не кончила (бесстрастным тоном, словно давала показания в суде о трагическом происшествии).

Друг родителей устроил ее к Барду.

— Этот друг был одних лет с моим отцом, но знал его с детства. Первое время он даже был нам предан. Но это оказалось сильнее его, и рано или поздно я должна была за все расплатиться. Он преследовал меня. Моя мать закрыла глаза, а я...

в те дни мне все было безразлично. Я не представляла себе, к чему это приведет. Ты будешь удивлен: я понимаю твою мать — не ее поклонение земле, а ее отвращение к плотской любви. Я благословляю тебя, именно тебя, за то, что ты не похож на этих скотов, которые меня преследовали. Даже Балеж! Да, этот горбун. Он хвастает своими победами, и не без оснований.

Она принадлежала старику! Она согласилась на это! Я не смел поднять глаза на Мари. Почти шепотом я спросил:

— Кто вас избавил от него?

— Грудная жаба. Он боялся смерти.

Может быть, она плакала, я не видел ее глаз. Я чувствовал только неловкость, я был шокирован. Я проговорил принужденно:

— Не плачьте.

— Я плачу не о том, что произошло тогда, а оттого, что вы сказали мне «вы».

— О! Это нечаянно. Послушай, Мари, теперь я понимаю, почему ты выбрала меня. Тебя, девочку, отдали в жертву скотам, ты вырвалась от них, но в душе навсегда сохранишь страх перед ними.

Она не ответила, она хотела еще что-то сказать, я это чувствовал. После довольно долгого молчания она решилась:

— И еще меня тревожит то, что ты христианин. Ален, могу ли я оторвать тебя от того, с чем связана вся твоя жизнь?

Я повторил: «Моя жизнь?» Эти слова поразили меня. Но поразила меня не ее щепетильность, а что-то нарочитое, какой-то неуловимый оттенок в голосе. Я понял это не сразу; только час спустя, когда я медленно поднимался по лестнице своего дома на улице Шеврюс, меня охватила тревога, которую пробудила во мне Мари. Дело было не в затруднениях религиозного порядка, на которые она намекала, а в том, почему она вспомнила о них, заговорила о них. И вдруг, когда я остановился передохнуть на лестничной площадке, где попахивало газом, я произнес полным голосом: «Она притворялась». Вспышка интуиции внезапно все озарила.

Я не поддался. Этот дар, которым я так кичился, не выдумал ли его я сам? А может, меня убедил в этом Донзак. Я сходил с ума, боясь, что дурачу самого себя. Я попытался успокоиться. Шаг за шагом я восстановил в памяти все, что рассказала мне в этом кафе Мари, и скрытые мотивы и причины вдруг осветились беспощадным светом: все было заранее продумано — это очевидно, я должен был узнать из ее собственных уст о

растрате, которую совершил ее отец, об этом мрачном происшествии и обо всем, чем оно для нее обернулось. Никакие сплетни ей теперь не страшны. Она защитилась. Без сомнения, она ожидала другой реакции с моей стороны после нанесенного удара. Почему она произнесла эти неожиданные слова «ты христианин»?..

«Ты христианин, ты христианин...» Черт возьми! Это значит, вне брака, от которого она, разумеется, отказывается, больше того, якобы не допускает и мысли о нем, между нами ничего невозможно. Вот в чем следовало меня убедить. Я ответил ей весьма легкомысленно, чтобы она не беспокоилась о христианине, он охотно согласится стать грешником, с этим он уже как-то свыкся.

— Нет, Мари, не беспокойся: *felix culpa*![29] Если только грех может принести счастье...

Однако Мари не ошиблась: я никогда не порывал с религией. Для меня нестерпима даже самая мысль об этом. Как странно, что она догадалась. Откуда она это знала? Трудно поверить, чтобы женщина ее среды, по-видимому совершенно равнодушная к вопросам религии, могла по немногим сказанным мною словам заключить,

---

[29] Примечания: 29
Счастливый грех *(лат.).*

что причащение святых тайн мне куда нужнее, чем неосвященные хлеб и вино. Она это знала. Она слыхала об этом от другого. От кого?

О боже, боже! На этой мрачной площадке я вдруг увидел все и был ослеплен своим открытием. Она мне солгала. Симон Дюбер, не замеченный мною, должно быть, видел меня в лавке и сказал Мари: «Знаю я его, вашего бедного студента, знаю я вашего ангела». Они действовали заодно. Но, в конце концов, у нее не было никаких оснований предполагать, что я поражен болезнью, свойственной многим юношам, которые считают, будто ни одна женщина не может их полюбить ради них самих. Не делал ли я каких-нибудь признаний Симону на этот счет? Нет... Да! Вспомнил! Рассказывая ему о бордоской ярмарке, об этих анатомических восковых муляжах, я разоткровенничался. «Он все передал ей. И она тотчас же заговорила о своем собственном отвращении. Она играла наверняка». Я твердил себе: «У тебя нет никаких доказательств! Ты жертва арабского сказочника, который живет в тебе и неустанно придумывает всякие истории, чтобы заткнуть щели между прочитанными тобой книгами, чтобы в стене, отгородившей тебя от мира, не было ни единого просвета. Но на сей раз история, кото-

рую ты сочиняешь, — твоя собственная история. Истинная или выдуманная? Какая доля тут принадлежит воображению? Где именно перекроило оно на свой лад действительность?»

Я пересек маленькую мамину гостиную, разделявшую наши с ней спальни. Хотя два года назад у нас провели электричество, я чиркнул спичкой и зажег керосиновую лампу, ту самую, что еще в детстве светила мне, когда я читал, когда делал уроки, когда готовился к экзаменам. Я присел на кровать, ни на минуту не спуская мысленного взгляда со всей совокупности фактов и упорно повторяя: «Это ничего не доказывает...» Я чувствовал, что не в силах убедить себя. Да, Мари тщательно подготовилась к своей вечерней исповеди в кафе, да, она своим признанием рассчитывала нанести двойной, даже тройной удар: она заранее нейтрализовала все, что могли бы мне рассказать о ее прошлой жизни; она вменила себе в заслугу то, что у нее нет и задней мысли о замужестве; вместе с тем она напомнила мне о моей религиозной жизни и сообщила о своем решении не посягать на нее. Таким образом, если я все же не могу обойтись без Мари, то надо опять-таки вернуться к мысли о браке... Да, но маловероятно, чтобы она на это рассчитывала.

И потом, бесспорным было чувство, которое она питала ко мне. В этом я уверен. Я нравился редко, но когда нравился, я это твердо знал. В чужих желаниях я никогда не ошибался.

Я заметил, что на кровати лежит почта — газеты и одно-единственное письмо, от мамы. Я поднес его к лампе. У меня не хватает духу его переписать. К чему навязывать Донзаку это чтение? Все эти расчеты его не интересуют. Мама откладывала свое возвращение на несколько дней. *«Игра стоит свеч,* — писала она. — *Нума Серис отказался покупать Толозу, хотя это лучшие земли в округе. (Очевидно, была ее очередь совершить сделку.) Уверяет, будто у него нет наличных денег. Разумеется, они у него есть, но он считает, что получит Толозу без лишних трат, когда ты женишься на его дочери. Он и внимания не обратил, когда я сказала, что у тебя нет склонности к женитьбе. Конечно, он не подозревает о твоем отвращении. Да и зачем говорить об этом? У нас впереди по крайней мере десять лет. Твои чувства могут перемениться. Даже наверняка переменятся...»*

Ничего больше не существовало — даже от ее религии, фарисейской, близкой к фетишизму, оставалась только оболочка. Все было съедено

изнутри. Да, видимо, и внутри никогда ничего не было. Я оглядел эту комнату, которая была моей, но не носила ни малейшего моего отпечатка — вот разве только книги и журналы... Коричневые обои преобладали в нашем доме: «Ваша бабушка обожала коричневый цвет». Все стандартное, из универсального магазина: худшее из уродств — уродство, порожденное недостатком культуры.

Я взял с письменного стола фотографии произведений современной живописи, которые присылал мне из Парижа Донзак, «чтобы воспитать мой глаз». Но как составить себе представление о картине без цвета? Я никогда не видел других полотен, кроме картин Анри Мартена[30], которые висят в музее в Бордо, где мы иногда укрывались от дождя: «Тинторетто рисует свою умершую дочь» и «У каждого своя химера».

Не знаю, почему я задумался обо всем этом убожестве именно в ту минуту, в этом мертвом доме, где единственными живыми существами были двое старых слуг, которые спали в каморке под крышей.

---

[30] Примечания: 30

Мартен Анри (1860 — 1943) — французский неоимпрессионист, символист. Создал серию полотен, наиболее полных и законченных, вдохновляясь пейзажами юга Франции и увлекаясь поисками новых световых решений.

И как всегда, когда я бываю несчастен до того, что готов умереть — умереть буквально (Донзак знает, в нашей семье многие покончили с собой), я встал на колени перед кроватью и снова заплакал, но на этот раз так, словно прижимался лбом к невидимому плечу. Вся моя вера заключалась в этом движении несчастного ребенка, которое многим покажется глупым и малодушным; но разве из малодушия бросается в пруд загнанный олень, спасаясь от собак? Я знал, что сейчас на меня снизойдет великий покой; пусть я проживу целый век, и даже если все мудрецы и философы отвергнут Христа, и даже если все покинут его, я все равно останусь с ним; не затем, чтобы служить ближнему, как истинные христиане, не потому, что я возлюбил ближнего, как самого себя, а только потому, что мне нужен этот поплавок, чтобы удержаться на поверхности нашего страшного мира и не пойти ко дну.

Таково было направление моих мыслей в тот вечер, когда я стоял на коленях, зарывшись лицом в простыни. Я умилился душой. Снова я вернулся к мысли, к которой возвращался не раз, одно время, после первого моего причастия, я был просто одержим ею: поступить в семинарию. Но мама своей верховной властью решила, что у меня нет

призвания, и мобилизовала всех священников, с какими я мог встретиться, чтобы они отговорили меня от этого намерения. Сейчас мне двадцать один год и надо мной никто не властен. Одним махом я избавлюсь от всего. Эту проклятую собственность я оторву от себя, я оставлю ее маме. Все земли будут принадлежать ей, но это убьет ее: ведь мамина одержимость — это наследование, вечное наследование, побеждающее даже смерть. Если я устраню себя, останутся только дальние родственники... Государство пожрет все. «К тому же, — обычно заключала она, — вопрос ясен. У тебя нет призвания. Это и слепому видно». Все, что служило ее страсти, не подлежало обсуждению, было видно и слепому. Но мне-то что? Я могу уйти, даже не оглянувшись...

Боже мой, как бы ни любил я свою мать, а я любил ее до безумия, ты знаешь, что все равно я люблю ее не больше, чем тебя. Я затаил против нее обиду, которая все отравила навсегда. Истина в том, что, подобно маме, я предпочел тебе Мальтаверн, но совсем по другим причинам, чем мама: дело не в собственности ради собственности, не в обладании в том смысле, как понимает его она. Я не решился бы признаться никому, кроме Донзака: я не могу покинуть эту землю, эти

деревья, речушку, небо над вершинами сосен — моих любимых великанов, горький запах смолы и болота, для меня он (пусть это дико!) — запах моего отчаяния.

Вот о чем думал я в этот вечер. Я сорвал с себя одежду и, даже не умываясь, погрузился в сон, пошел ко дну.

ГЛАВА VI

Звяканье подноса с утренним завтраком, бледные лучи летнего солнца, заглянувшие сквозь раздвинутые занавеси, пробудили ото сна уже не вчерашнего убитого горем мальчика. Я встал, чувствуя себя проницательным и холодным; ночью, пока я спал, во мне созрела ясная мысль: я знал, что следует мне делать или по крайней мере попытаться сделать. Мари назначила мне свидание перед самым закрытием магазина; около шести часов я встречусь с Симоном, который, как уверяла она, тоже придет к этому времени. Но она забыла, что по четвергам, как она сама рассказывала, Симон проводит в лавке всю вторую половину дня, приезжая из Таланса сразу же после завтрака. Значит, я должен его подстеречь и увидеться с ним до того, как он войдет в магазин.

Это был единственный шанс узнать, состоял ли он в заговоре с Мари или же я сам этот заговор выдумал. Без сомнения, он попытается обмануть меня, но я знал, что это ему не удастся. Он принадлежал к тем немногочисленным людям, над

которыми мне дана власть — власть в полном смысле слова. Безумие писать об этом, но ведь я пишу только для Донзака, а он знает, о чем идет речь. «Один из тех, кого ты завораживаешь...» — как он говорит. Я узнаю все очень скоро, если удастся поговорить с Симоном где-нибудь хоть полчаса, только не на улице. Но как встретить его наверняка? Из Таланса он приедет трамваем, потом пешком поднимется по улице Сент-Катрин. Я не пропущу его, если с двух часов буду караулить на углу Сент-Катрин и Пассажа, разве только они решили, чтобы подготовить план сражения, позавтракать сегодня вместе... Нет, обедать она может не дома, а завтракает всегда с матерью. Она мне говорила, так у них заведено. Мать готовит завтрак для них обеих... Значит, Симон около двух встретится с ней в книжной лавке. Мне надо занять свой пост как можно раньше.

В половине второго я уже был у входа в Пассаж со стороны улицы Сент-Катрин. Несмотря на толчею, труднее всего оказалось остаться незамеченным. Сразу видно было, что я кого-то поджидаю, причем неизвестно кого; а если молодой человек неподвижно торчит на тротуаре — это уже приманка. Можно было бы разглядывать витрины, но тогда возникала опасность

упустить Симона. Я сгорал от желания увидеть его, однако сам запрещал себе об этом думать из суеверного страха, сохранившегося у меня с детства, что ничего не происходит так, как мы того ожидаем, поэтому не надо заранее представлять себе события, как нам того хотелось бы.

Тем не менее все произошло именно так: около трех часов Симон внезапно появился в поле моего зрения (меня он не видел), неповоротливый, как всегда, вытянувшийся, надутый, с приобретенной еще в семинарии важной осанкой, в твердом воротничке сомнительной чистоты, вероятно целлулоидном, и широкополой черной шляпе — словом, учитель с головы до ног, невероятно постаревший. Сколько же ему лет? Он на четыре года старше меня — двадцать пять, возможно ли? Выражение «человек без возраста» подходило к нему в буквальном смысле слова. Так старит страдание, непрерывное страдание, в котором утопал он еще мальчиком, которое, по-видимому, захлестывает его и сейчас. Понял ли я это сразу, с первого же взгляда? Нет, я выдумываю, опять выдумываю — и все же это, должно быть, правда. Мне всегда казалось, что он тонет в какой-то обжигающей его жидкости. Но я не выдумал это лицо, словно вырубленное из грубой породы. Не

выдумал я и молодой румянец, на мгновение окрасивший это окаменевшее лицо, едва он меня увидел, и мимолетную улыбку, и внезапный панический страх. «Нет-нет, не сейчас, господин Ален, только не сейчас», — заговорил он, едва я взял его за руку. Я не ошибся: он не должен был меня видеть до нашей встречи в книжной лавке.

— Послушайте, Симон, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз...

— Нет, я обещал.

— Но ведь вы не знали, что мы встретимся. Эта встреча от вас не зависела, она была угодна...

— Вы хотите сказать: угодна богу? Вы остались все таким же, господин Ален. Достаточно взглянуть на вас.

— Угодна богу? Не знаю. Я-то, во всяком случае, хотел ее. Я подстерегаю вас целый час, теперь я вас не отпущу. Мари вы скажете все, что хотите, или вообще ничего не скажете...

Тут вдруг на меня нашло вдохновение, и я произнес именно те слова, которых он ждал:

— Нам-то что за дело, вам и мне? Эта история ее не касается. Это наша история, Симон, история Мальтаверна, наша тайна...

Его окаменевшее лицо вспыхнуло снова. Он повторил:

— Наша тайна, господин Ален, наша жалкая тайна...

— Послушайте, знаете ли вы кафе Прево, «Шоколад Прево», тут рядом, на бульваре Турни? В этот час там пусто. Мы посидим там совсем недолго, сколько вы захотите.

Симон больше не сопротивлялся. Мы вышли на площадь Комеди. Он повернул ко мне свое неподвижное лицо и заговорил. Он сказал, что ни в чем не упрекает господина Дюпора, благодаря ему он смог подготовить в Париже диплом, а благодаря Гастону Думергу получил место преподавателя в коллеже департамента Сена и Уаза. «Но они не приняли в расчет мое произношение. Я и не подозревал, какую бурю может вызвать мое произношение в Париже, особенно в классе, где учатся двенадцатилетние мальчишки. Вы, бывало, не раз говорили: „Люблю только деревья, животных и детей“. Так вот, последний пункт советую вам вычеркнуть: вы не знаете, на что они способны!» Его травили безжалостно. «Мы в Жиронде и не подозреваем, что творится в Париже, стоит лишь нам открыть рот». Тогда его назначили в Таланс. «Но даже в Талансе...» Мари обещала ему помочь исправить произношение. Она знает специальный метод. Я сказал, что он

и так сделал большие успехи, его акцент почти незаметен. Бывает ли он в Мальтаверне?

— Что вы! Это слишком дорого... Нет, дело даже не в этом. Главное, что мадам почти не выезжает оттуда, впрочем, вы и сами знаете. Не надо даже говорить ей обо мне. А я... прошу прощения, но я тоже не могу видеть мадам, буквально... Не говоря уж о госпоже Дюпор. Эта никогда не протрезвляется, просто страх берет. Родители два раза приезжали в Таланс. Я оплатил им дорогу. Прюдан как-то тоже приехал, ночевал у меня, в моей постели... Представляете...

Мы вошли к Прево. В этот час там и правда сидела только одна парочка за чашкой шоколада.

— Это напомнит вам полдники госпожи Дюпор, — сказал я смеясь.

Но Симон не засмеялся: ирония была ему недоступна, он опять замкнулся и ощетинился. Тщательно намазывая хлеб маслом, он макал его в шоколад, жадно ел и молчал. Времени оставалось не так уж много.

— Странно, что Мари решила обмануть меня, — начал я. — Почему она скрыла, что вы рассказывали ей обо мне, что она все знала обо мне от вас...

— Эта девушка говорит лишь то, что хочет

сказать.

— А сама таит какие-то мысли насчет меня. Да, в конце концов, и я гожусь в мужья

— Ну! Уж вы скажете! Она ведь не сумасшедшая. Молодой Гажак и продавщица книжной лавки! Не говоря уж о ее прошлом. Она слишком умна... И потом, она вас хорошо знает, хотя и обмолвилась как-то при мне (не говорите, что я вам передал): «Если бы я хотела вашего ангела, если бы я захотела, я получила бы его...» Мне даже кажется, она сказала: «Когда я захочу, я получу его». Но это могло означать и...

Он говорил, набив рот шоколадом и хлебом. Я сказал:

— Что ж, вот и я выскользнул из сетей.

— Какие сети? Нет тут никаких сетей. Она любит вас, понимаете? Это уж, во всяком случае, правда. Я ревновал и здорово на вас разозлился... Хотя нет, это неправда, не злился я на вас. Мне всегда казалось, что так и должно быть — вам дано все. Вот что: мы скажем, что встретились с вами на улице Сент-Катрин у Пассажа, в конце концов, так оно и было. А о чем мы не скажем — это о нашем разговоре у Прево.

Я расплатился и встал. До книжной лавки было не больше пяти минут ходу.

— Она нам не поверит, — вдруг сказал я, — так же как не поверил ей я. Вы лжете нам обоим, Симон. То, что вы лжете ей, я еще понимаю. Но мне!

Он пробормотал:

— А что я такое для вас?

Я не ответил. Войдя в Пассаж, мы в последнюю минуту решили не разыгрывать комедии, а честно рассказать Мари, как произошла наша встреча. Она увидела нас еще на пороге лавки, в которой, как всегда по четвергам, было полно народу, окинула нас быстрым, испытующим взглядом и, не ответив на наши улыбки, снова занялась осаждавшими ее покупателями. Мы остановились у витрины. Симон сказал:

— Этого она мне никогда не простит. Но она и себе не может простить, зачем скрыла от вас, что я ей все рассказал А все-таки это правда: вы понравились ей, когда она считала вас бедняком.

В этот момент Мари, воспользовавшись передышкой, подошла к нам. На этот раз она улыбалась и, шутливо подтолкнув нас к выходу, сказала:

— Теперь, когда вы встретились, вам нечего тут делать. Я буду только мешать вам.

Когда я возразил, что мы придем за ней к за-

крытию магазина, она сухо запретила нам это делать. Она обращалась к нам обоим, но смотрела на меня одного. Существовал только я. Она прикоснулась пальцем к моему лбу.

— Бог знает, что там происходит, — сказала она, — чего только вы не напридумывали... Тем хуже! К счастью, господин Дюбер не может больше ничего рассказать вам обо мне. Он ничего обо мне не знает.

Кто-то из покупателей отозвал ее. Я думал, что Симон не понял ее слов, но, едва мы вышли на улицу, он с яростью воскликнул:

— Ах, так! Я ничего не знаю о ней? Я знаю больше, чем она думает, и именно то, что она хотела бы скрыть от вас и о чем, ей кажется, я и понятия не имею...

Мне гораздо чаще приходилось быть в роли того, на кого женщина и не глядит, чем наоборот, но в таких случаях я испытывал лишь легкий укол ревности, я не ведал той горечи, почти отчаяния, которое обуревало Симона: так будет всегда, думал он.

— Что ж, мой удел — это мамаша Дюпор. Прощайте...

Я удержал его за руку и попросил проводить меня на улицу Шеврюс.

— Вы хоть немного отдохнете у меня в комнате...

Он последовал за мной, но нехотя, уныло повесив голову. Что он знал? Что мог рассказать о Мари? Я вовсе не страдал. Я хотел знать. Да, пусть все в ней станет явным. Это было любопытство самодовлеющее, как бы отчужденное. Но я упустил момент, когда Симон готов был заговорить из мести, теперь нельзя было рисковать. Он поднимался по нашей лестнице почти с благоговейным чувством. Он был потрясен.

— Да, — сказал я, — лестница недурна. Двести лет назад в Бордо умели строить... Но комнаты! Во что мы только их превратили!

Я ввел его в большую гостиную, где Мунете, мамин драпировщик, «обрядил», как он выражается, окна со всей пышностью, не поскупившись на сборки, кисти, бахрому и помпоны. Симон был ослеплен.

— Это грандиозно!

— Это уродливо. Вспомните, Симон, кухню Дюберов, вашу кухню — окорока, подвешенные к балкам, деревенские ходики с тиканьем, подобным биению сердца, буфет, скромные фаянсовые тарелки, оловянные ложки, запах муки и жареного сала, а главное, та священная сень, где обитает

бог, сень «Странников в Еммаусе»...

— Э! Вот еще! Посмотреть на вас — можно подумать, вы сами верите тому, что говорите...

— Буржуазная обстановка, такая, как наша, — это совершенное уродство. Едва крестьянин начинает богатеть и помышлять о гостиной, он переходит в буржуазию, то есть в уродство.

Симон повторял:

— Э! Вот еще!

Я повел его в маленькую мамину гостиную.

— Вот здесь и живет мадам! — произнес он с почтением, смешанным с ненавистью.

— Не часто она здесь живет. Подумайте, Симон, каково мне в этом старом мертвом логове! Мы вдвоем занимаем целое крыло. Но признаюсь честно: я сам создал эту пустыню. Я всегда боялся чужих...

— Особенно девушек?

— Так же, как юношей.

— Но Мари вы не боитесь. Она говорит о вас: «Я его приручила...»

По сжатым губам Симона проскользнула быстрая усмешка, которую я помнил у него с детских лет.

— Вы что-то знаете о ней, Симон, а она не знает, что вы это знаете...

— О, господин Ален! Забудьте о том, что вырвалось у меня в сердцах. Будет нехорошо, если я рассажу вам... Впрочем, — добавил он, — это может помочь вам понять ее. Она рассказала вам о себе не все, но то, что она скрыла, может быть, сделает ее для вас еще дороже, а может быть, еще ужаснее... Разве с вами угадаешь?

— Кто мог рассказать вам о ней в Талансе? Да и здесь вы никого не знаете. Я вам не верю.

— Э! И не верьте. Я-то вас ни о чем не прошу!

Он снова окаменел.

— Но я, Симон, я вас прошу об этом. Придите мне на помощь, вы, знающий о ней то, что сделает ее для меня еще дороже или еще ужаснее. Нельзя оставлять меня в таком сомнении. Чего только я не насочиняю теперь?

Тоска терзала меня, но я еще и разыгрывал ее, чтобы сломить последние колебания Симона. Настоящие слезы лились у меня по щекам, но, будь я один, я, может быть, и не пролил бы их. Таков уж я есть. Да простит меня бог!

Ничего необыкновенного не было в том, что Симону все стало известно. Балеж, горбатый приказчик, жил в квартале Сен-Женес. По четвергам, как и обычно, вечером после закрытия магазина, он отправлялся домой в том же трамвае, каким

ездил и Симон к себе в Таланс. Сначала они обменивались лишь несколькими словами.

— Но и он тоже, этот Квазимодо, мечтает о Мари как одержимый. У него нет никого: ни семьи, ни друзей, я — первый живой человек, который слушал его с интересом и даже — он сразу догадался — готов был с такой же страстью, как и он, разговаривать о Мари без конца.

Я не стану воспроизводить здесь для Донзака рассказ Симона. Не стану восстанавливать эту сцену с мнимой правдивостью «повествования». Донзаку важно знать лишь то, что весть о страшной беде, поразившей эту девушку, угнетавшей ее и поныне, сразу принесла мне облегчение, успокоение — теперь я вздохнул свободно. Мне показалось было, будто Мари кем-то предупреждена о моей совестливости и строгости верующего христианина, но теперь я нашел объяснение в том, что Балеж рассказал Симону. У Мари, по крайней мере вначале, не было никаких расчетов, никакого намерения женить меня на себе, когда она заговорила о моей приверженности к соблюдению обрядов и таинств. Достаточно было Симону дать ей представление о моем строгом религиозном детстве, о моей матери и ее испанском католицизме, об удушаю-

щей атмосфере Мальтаверна, чтобы эта девушка, которая все понимает, все чувствует, угадала мою драму, повторявшую ее собственную. Об отце Мари — распутном сборщике налогов — я знал, но у нее была еще и мать, очень набожная, но в своих религиозных взглядах как будто более терпимая, чем моя мама. Случилось так, что человек, носивший высокий духовный сан — не буду ничего говорить о нем, чтобы Донзак не мог догадаться, кто он, — каждый год проводил летние месяцы в Сулак-сюр-Мер, где жила семья Мари. Он был духовным наставником и матери и дочери. Мари стала его добровольным секретарем, больше того — любимой ученицей. Ему она обязана своим интересом к отвлеченным идеям, своей неожиданной для молодой провинциалки образованностью, но также, по словам Балежа, и безраздельной преданностью тому, что воплощало в ее глазах церковь, хотя на самом деле оказалось просто мужчиной.

У меня, разумеется, нет никаких оснований доверяться сплетням Балежа, пересказанным, возможно не вполне точно, Симоном. Мне достаточно было почувствовать, что трагический отлив веры, в одно мгновение опустошающий полную до краев душу, для Мари был связан с

открытием (сколько юных христиан его совершали!), что святой, заслуживший ее доверие, был и сам всего лишь жалким созданием из плоти, таким же, как все остальные, еще хуже, чем остальные, из-за маски, которую он обречен носить вечно. Совращенные тем, кто обратил их... да, немало я знал таких. Но я увлекся. Все это я уже сочиняю. В чем во всей этой истории я могу быть уверен? В том, что после скандала, вызванного самоубийством отца, Мари пришлось отказаться от своего положения среди руководимой прелатом молодежи, и это ей было тяжело, что друг отца, устроивший ее к Барду, тоже ученик и фанатичный последователь пастыря, порвал с ним из-за нее. Что произошло в действительности, Балеж точно не знал... Скорее всего, между двумя пятидесятилетними стариками, из которых один долго был под влиянием другого, произошла такая же ссора, какая вспыхивает из-за девчонки у двух мальчишек в баре или на улице. Полагаю, не нужно придумывать иных объяснений теперешнего полного безверия Мари и ее основанного на собственном опыте понимания моей личной драмы...

— И вы, Симон, — сказал я ему, — и я сам — оба мы, так же как она, жертвы того, что слово сына

человеческого, сына божия доходит до нас лишь через грешников. И не только его слово. Мы отождествляем его с ними. Вот причина бедствия, которое длится две тысячи лет.

— Но вы-то, господин Ален, сохранили веру.

— А вы, Симон? Вы, значит, думаете, что потеряли ее?

Он не ответил, закрыв на мгновение лицо своими уродливыми руками. Он вздохнул.

— Что значит сохранить веру? Что значит потерять ее? Я думал, что потерял ее. Господин Дюпор поручил одному из своих друзей, профессору Сорбонны, составить для меня наглядную таблицу всех доказательств невозможности существования бога. Не смейтесь, вы понятия не имеете о современной науке, господин Ален, да и я тоже...

— Но для нас с вами существует иная невозможность: невозможно предположить, будто в определенный момент истории не явился тот, кто произнес известные слова...

— Кому приписывают известные слова.

— Да, и известные деяния.

— Мы с вами — последние, кто придает этому значение. Вы никогда не выходили из своей норы, господин Ален. Если бы вы знали, насколько все это несущественно в Париже, до какой степени с

этим делом покончено...

— Но мы-то с вами знаем, что это существует...

— Что вы называете «это»? То, что вам вдалбливали с детства и чего я наглотался еще в семинарии?

— Нет, Симон, напротив: то, что сопротивляется этим формулам, этому бездумному повторению, этой выучке, то, что не зависит от заложенного в нас автоматизма... Но вы меня понимаете. Только вы один и можете меня понять!

Он спросил вполголоса, со сдержанным пылом:

— Почему вы так думаете?

Но зачем преподносить Донзаку нашу беседу в упорядоченном и приукрашенном виде, тем более что все существенное в ней я заимствовал у него же? Я хотел бы подчеркнуть, выделить из контекста самое важное в этой вечерней встрече, то, что, может быть, совершенно изменило мою жизнь отныне, сделало ее совсем не такой, какой была бы она, не явись мне этот призрак — Симон... Или, вернее, нет! Надо было написать так: то, что помешало мне изменить свою жизнь в тот самый момент, когда Мари готова была круто повернуть ее течение, то, что вернуло бегущую по ландам речушку в ее старое русло между оль-

ховых деревьев, подобных неподкупной страже... Я уверен, что именно в этот вечер, а не позже я почувствовал, что способен относиться к своей матери как к врагу, потому что тогда, в этой маленькой гостиной на улице Шеврюс, Симон открыл мне глаза; больше он не переступал наш порог, ведь моя мать вернулась из Мальтаверна на третий день, после того как купила Толозу.

Отныне каждый четверг около четырех часов я отправлялся к Барду, где ожидал меня Симон. Мари, окруженная покупателями, улыбалась мне издали. Мы выходили вместе, Симон и я. Я уводил его к Прево. Там я старался не садиться против него, чтобы не видеть, как он макает в шоколад намазанную маслом булочку. Мы встречались с Мари после закрытия магазина, но теперь уже не в кафе на углу улицы Эспори-де-Луа (после возвращения моей матери мы стали осторожнее), а в ледяной гостиной на улице Эглиз-Сен-Серен.

Но прежде всего Донзак должен узнать, что сообщил мне Симон в тот вечер на улице Шеврюс. Тайну эту открыл ему Прюдан, его брат, в день своего первого и последнего приезда в Таланс. Оказывается, моя мать была не так уж уверена в моей покорности и в своей конечной победе. Мне уже двадцать один год, и я могу стать добычей

первого встречного, первой встречной. Она опасалась, как бы кто-нибудь, прельстившись моим богатством, не подцепил меня на крючок. Мое отвращение к браку не слишком ее успокаивало, она понимала, что женитьба была бы для меня единственной надежной защитой от Вошки. Наибольшая опасность, по ее мнению, таилась в моей студенческой жизни в Бордо. Она понимала, что я не легкая добыча. Она хорошо знала ту силу инертности, какую я противопоставлял всякой попытке соблазнить меня. Но достаточно будет одной встречи, чтобы разбудить во мне мужчину, такого же, как все, или даже хуже, чем все. Пока я не возвращусь в Мальтаверн, и не возвращусь навсегда, ей своего не добиться. Когда она наконец вернет меня и я брошу там якорь навеки, все произойдет так, как она задумала.

Главное, как объяснила она старому Дюберу (от него-то и узнал Прюдан все, о чем рассказал брату), — не дать захватить себя врасплох. «Я выпустила его из рук, — твердила она, — я чувствую, как он ускользает от меня». Когда я решу жениться, хуже всего будет, по словам мамы, если я сделаю подходящий выбор, не вызывающий никаких возражений. Но даже и тогда она сумеет найти непреодолимые преграды: преграды

всегда найдутся. Я должен буду подчиниться ее запрету, безоговорочному запрету. Вся ее сила зиждется на моей неспособности вести дела, даже думать о них. Несмотря на то что она всегда гордилась моими школьными успехами в дни распределения наград, она судила обо мне в соответствии с привычной для ее среды шкалой ценностей, которой пользовался еще папаша Гранде. Ничего не изменилось во Франции со времен Бальзака. «Никчемное создание» — вот кем я был в глазах мамы, несмотря на все прочитанные мною книги.

Если же я буду упорствовать, она удалится в свое имение в Ноайяне и оставит меня одного с моими двумя тысячами гектаров. Но и это еще не все: чтобы лишить меня всякого выхода, она взяла с Дюберов обещание переехать вместе с ней в Ноайян. Обойтись и без матери, и без управляющего я не смогу, таким образом, мне не останется ничего другого, как покориться. Это пойдет мне только на пользу, помимо моей воли, она спасет меня. Я словно слышал ее голос: «Я тебя выносила и буду нести до конца моих дней».

Вначале Симон говорил равнодушно, как бы по обязанности: «Нужно, чтобы вы узнали, господин Ален...» Но постепенно озлобление против мадам,

тайно копившееся в нем с самого раннего детства, начало прорываться в каждом его слове. Что же касается того, что испытывал я сам... Маме даже не было нужды появляться во плоти, чтобы я впал в обычное свое оцепенение. Она крепко держала меня в руках и была права, что не сомневалась в этом. Я вздохнул:

— Что ж, выхода нет!

— Да есть выход, господин Ален! Есть! Его нашла Мари. Если вы захотите, она спасет вас.

Тут он уперся и больше ничего не пожелал говорить: она сама, а не он, должна посвятить меня в свой план. И вдруг после долгого молчания он сказал с внезапно прорвавшейся приглушенной страстью:

— А я, господин Ален, клянусь вам, что если когда-нибудь не будет у вас управляющего и вообще никого... да ладно, вы знаете, границы имения мне известны не хуже, чем отцу. Подайте только знак, и я примчусь. О! Главное, не думайте, что я брошу все ради вас. Нет, я вырвусь из ада этой жизни в Талансе и снова обрету Мальтаверн.

— А Мальтаверн — это я.

Он отвернулся и встал:

— До четверга в книжной лавке.

Я слышал, как постепенно замирали на лест-

нице шаги Симона, потом захлопнулась тяжелая дверь. Я вышел из своего полунапускного оцепенения или, если хотите, из оцепенения, которому не стал противиться, едва речь зашла о маме. Теперь, когда я остался один, меня захлестнула холодная ярость не только против нее, но и против Мари, позволившей себе иметь какой-то план; это было бешенство человека, который слывет таким слабым, что внушает женщинам только жалость, меж тем как в нем бушуют неисчерпаемые силы. «Они увидят, эти женщины! Они увидят!» Что увидят? Главное — сохранить холодный рассудок. Самое радостное за сегодняшний вечер то, что теперь я знаю: по первому моему зову Симон бросит все. Чтобы бежать из своего ада, сказал он. Возможно... Но ни для кого другого он этого не сделает. Что бы ни ждало меня впереди, я буду не один.

ГЛАВА VII

Моя мать вернулась из Мальтаверна через два дня, вся еще в пылу битвы за Толозу: сто гектаров сосняка и столетних дубов в пяти километрах от деревни. Нума Серис считал цену непомерно высокой. Она же не сомневалась, что превосходно поместила капитал. После ужина мы сидели с ней в уголке у камина в нашей маленькой гостиной. С рассеянным видом, какой я напускал на себя, когда обсуждались подобного рода дела, я спросил у нее, откуда она взяла деньги на покупку Толозы.

— О! Я пустила в ход резервы, они всегда у меня под рукой.

— Да, конечно, крепежный лес, сбор смолы за текущий год. Не считая вырубки сосен в Бруссе...

Мать взглянула на меня. Я сохранял знакомое ей отсутствующее выражение лица, и она успокоилась.

— Важно иметь деньги, — сказала она, — не все ли равно, откуда они.

— Для меня и это важно. Если ты заплатила за Толозу из своих личных доходов, полученных с Ноайяна, Толоза — твоя. Если же из доходов с

Мальтаверна...

На маму нашел «приступ».

— Чего ты добиваешься? Наши интересы совпадают, и тебе это отлично известно.

— Но они не совпадают с интересами государства. Накладно будет платить когда-нибудь налог на наследство за Толозу, которая фактически принадлежит мне. А кроме того, не всегда наши интересы будут совпадать: я не давал обета безбрачия.

Последовало молчание, и прервать его я остерегся. Тянулось оно долго, во всяком случае, так мне показалось. Наконец мама произнесла вполголоса:

— Кто-то сбивает тебя с толку. Кто же это сбивает тебя с толку?

Я изобразил величайшее изумление, на какое только был способен. Я напомнил маме, что мне исполнился двадцать один год и, право же, я не нуждаюсь ни в чьей подсказке, чтобы заинтересоваться кое-какими вопросами. Тут она взорвалась, обвинила меня в неблагодарности: она управляла нашим имуществом осмотрительно и успешно, являя пример для всех; она неслыханно его приумножила; она уедет в Ноайян, если я этого хочу, и больше палец о палец не

ударит! К этой угрозе я остался нечувствителен. Я покачал головой и даже улыбнулся. Мама покинула гостиную и, проследовав к себе в комнату, щелкнула задвижкой, согласно неизменному сценарию, порядок которого я решил в этот вечер нарушить: я не стану, как обычно, стучаться к ней в дверь и умолять: «Мама, открой мне!»

Я подбросил в огонь полено и замер в спокойном отчаянии, но это был не тот даруемый богом покой, который предвкушал я в иные часы моей жизни. От этого покоя я отдаляюсь с каждым днем, вернее, мирские блага окружают меня все более плотным коконом, и, хотя я выступаю беспощадным судьей своей матери, оба мы друг друга стоим в своем стремлении завладеть землей, которая принадлежит всем и не принадлежит никому и в конце концов сама будет владеть нами...

На этот раз мама не возьмет верх. Ей больше не взять верх никогда. Возможно, она это предчувствовала. Я вспомнил ее восклицание: «Кто-то сбивает тебя с толку!» Должно быть, едва переступив порог, она, как всегда, стала расспрашивать Луи Ларпа и его жену о моем поведении. Обед, заказанный для дамы и через час отмененный по телефону самой же дамой, — этого было более чем

достаточно, чтобы мама встревожилась. Доказательство тому я получил немедленно. Я услышал щелканье задвижки, дверь маминой комнаты отворилась. Мама не стала дожидаться, пока я приду просить прощения, и сама сделала первый шаг. Она снова заняла свое место напротив меня, как будто между нами ничего не произошло.

— Я все обдумала, Ален. Ты прав, я действительно забываю о твоем возрасте и обращаюсь с тобой как с ребенком, хотя ты уже не ребенок. Я освобождала тебя от всего, ни во что не вовлекала. Но ты ведь сам этого хотел. Для меня будет счастьем, если ты наконец заинтересуешься тем, что рано или поздно станет твоим прямым долгом! Ведь я не вечно буду с тобой.

Она умолкла, надеясь, что я встану и поцелую ее, но я продолжал сидеть неподвижно и молчал. Тогда она напомнила, что при жизни Лорана покупку каждого гектара, каждую трату она совершала только как наша опекунша и от имени нас обоих. После смерти Лорана и до покупки Толозы речь шла лишь о мелких участках. А с Толозой надо было действовать решительно: владелец мог, того и гляди, передумать. Пришлось подписать купчую и выплатить деньги в тот же день, но она признает, что напрасно так поторо-

пилась. Теперь она сделает все, что нужно, и из собственных средств вернет в кассу Мальтаверна стоимость Толозы.

— А если ты когда-нибудь женишься, Толоза будет моим свадебным подарком. Но в двадцать один год не женятся.

— Потому что это призывной возраст. Но от армии меня тоже оградили: я избежал и этого. А вот женитьбы мне, может быть, избежать не удастся.

— Надеюсь, что так.

Я не выразил согласия ни словом, ни знаком; молчание между нами стало невыносимым. Мы поднялись и пожелали друг другу спокойной ночи.

Еще не пробило и десяти. Полагаю, каждый из нас, сидя в своей комнате, думал об одном и том же человеке: для мамы это была незнакомка, которую я пригласил как-то вечером в ее отсутствие и которая настолько меня преобразила, что я осмелился спросить у матери отчета в покупке Толозы; но и для меня эта женщина оставалась незнакомкой, хотя я держал ее в тот вечер в своих объятиях и верил, что она любит меня. Она мне солгала, она знала, что я это знаю, и не сделала ни малейшей попытки осведомиться, что же во

мне происходит...

После встречи с Симоном я не был в книжной лавке у Барда целых три дня! Мари, должно быть, прочла в этом свой приговор и отказалась от борьбы. Дикий голубь, которого она приручила, испугался и улетел: она постарается меня забыть. Такие мысли я приписывал ей. Потом я вспомнил, что Симон говорил о каком-то плане Мари спасти меня от женитьбы на Вошке. План Мари, задуманный Мари...

Я решил затаиться до четверга — дня нашего свидания с Симоном. Но на другой день после приезда мамы, возвращаясь из университета, я не выдержал. Я пытался бороться. Как всегда, я зашел в собор, это было по пути: я даже сокращал дорогу. Обычно я там задерживался. В этом месте, принадлежавшем всем людям, я чувствовал себя наиболее защищенным от людей, как бы плавающим в безбрежном море любви, заказанной мне навеки, мне, подобно богатому юноше из Евангелия, который «отошел с печалью, потому что у него было большое имение».

В тот день я в соборе не задержался. Я дошел по улице Сент-Катрин до Пассажа. Не успел я переступить порог лавки, как Мари меня увидела, а я

с первого взгляда почувствовал, что она страдает. Страдание состарило ее. Это была уже не молодая девушка, даже не молодая женщина, а живая душа, страдавшая долгие годы, но теперь она страдала из-за меня. Мне известно — и Донзаку тоже — одно свойство моей натуры, не знаю, моя ли это особенность или черта эта свойственна многим людям: если я привязан к человеку, мне, чтобы быть спокойным, нужно увидеть, как он страдает. Прежде чем я обменялся с Мари хоть словом, на мою душу снизошло великое умиротворение. Мы наскоро пожали друг другу руки. Я попросил ее зайти к Прево, как только она освободится, а в ожидании пытался убить время, кружа, как потерявшаяся собачонка, в лабиринте пустынных кварталов Сен-Мишель и Сент-Круа. Потом я сидел у Прево за чашкой шоколада, предаваясь животной радости отдыха. Наконец она вошла. «Она подкрасилась», — сказала бы с осуждением моя мать.

— Я пришла не затем, чтобы оправдываться. Можете думать что хотите... Но у меня не было никаких тайных мотивов. Просто я знала: если вы встретитесь без меня с Симоном Дюбером, между нами все будет кончено раньше, чем начнется...

— Я тоже обманывал вас, Мари. Мы оба лгали,

чтобы не потерять друг друга.

— Потерять можно лишь то, чем владеешь. Нет, Ален, я не потеряла тебя.

Она не потеряла меня, она хотела меня спасти. Она видела, что мне грозит смерть, потому что для мужчины страшнее смерти вынужденный брак с женщиной, внушающей ему такой ужас, какой внушала мне Вошка. Моя мать знает, что время работает на нее, что каждый выигранный год приближает осуществление мечты, которую она лелеяла всю свою жизнь.

— Надо опередить ее, раз уж нам известно, куда направит она первый удар... Но прежде всего, Ален, все зависит от вас, и вы сами должны твердо знать, с кем вы, хотите ли вы, чтобы мы вас спасли? Симон Дюбер уверяет, что вы на это решились. Но, может быть, так было в день вашей встречи, а сегодня вы уже менее тверды?

Она искала мой взгляд, но мы сидели рядом, и мне нетрудно было уклониться. Я сказал, что готов ко всему и не готов ни к чему, что никогда больше не вернусь в ярмо, от которого мысленно уже освободился, но оставляю за собой право судить о путях, которые мне будут предложены.

Сам не знаю, как получилось, что главной темой нашей беседы стал Симон Дюбер. Она

говорила о нем с увлечением и, я уверен, без всякой задней мысли, и то, что она мне рассказала, объяснило мне истинный смысл предложения Симона бросить все и последовать за мной, лишь бы избавиться от ада в Талансе. Бедный Симон. Свой ад он носил внутри себя. В Париже он был на грани самоубийства. Он все время близок к самоубийству, его удерживают лишь остатки веры. Он сохранил их и только поэтому устоял против своих новых учителей, которые пытались использовать его в своих целях. Они уговаривали Симона написать исповедь молодого крестьянина, которого хотела сбить с пути богатая ханжа. План книги был для него составлен, ему оставалось только заполнить пустые графы. Симон взбунтовался, они не настаивали, и, поскольку он был полезен в канцелярии, его терпели... Я вдруг вспылил:

— Оказывается, я ждал вас битых два часа и слонялся как потерянный по лабиринту этих мрачных кварталов лишь затем, чтобы поговорить о Симоне...

— Да, это правда, я говорю с вами о нем, потому что боюсь заговорить о нас, потому что знаю, о чем вы подумаете... Но, собственно, почему вы можете об этом подумать? Вы знаете, чья я дочь,

на сколько лет я вас старше, что я делала, или, вернее, что со мной делали за эти годы — что сделали со мной эти старики. Ах! Какой я была в вашем возрасте, Ален, какой я была...

Нет она не играла в эту минуту, а если играла, то какая это была актриса! Самым ужасным для нее было мое молчание. Я ничего не ответил, но не оттого, что был таким бесчувственным, а потому, что единственные пришедшие мне в голову слова, слова хорошо воспитанного юноши, прозвучали бы хуже любого оскорбления.

Я должен верить, сказала она, что, вступая в этот заговор, она не ищет для себя никакой выгоды, разве лишь испытает то удовольствие, с каким освобождаем мы из паутины муху, пока ее не сожрал паук. Наконец она перешла к плану битвы: как только моя мать уедет в Мальтаверн, я сообщу ей туда письмом о своей помолвке с «продавщицей из книжной лавки Барда». Мари была согласна, чтобы я воспользовался ее именем: ведь она действительно та женщина, которая должна внушать моей маме особенный ужас — ее среда, ее возраст, все, что мама немедленно узнает о ее семье и о ее прошлом, — этого будет вполне достаточно, чтобы моя мать сразу поставила меня перед выбором: она или Мари, а так как я буду

упорствовать, она удалится в свое ноайянское имение и увезет с собой Дюберов.

Тут я прервал Мари: мне казалось невероятным, чтобы Дюберов можно было оторвать от Мальтаверна. Они приросли к нему, как устрицы к своей раковине. Но Мари считала, что опасаться нечего: старик Дюбер поймет, что это просто хитрость, чтобы вызволить меня из сетей какой-то дурной городской женщины. Он, так же как его хозяйка, мечтает прибрать к рукам земли Нума Сериса и считает себя незаменимым. Он ни на минуту не усомнится, что через недельку я позову его обратно. Поразмыслив, я спросил:

— И вы думаете, она не сможет парировать удар? Вы не знаете мою мать.

— Я знаю вас, Ален. Вся ее сила — в вашей слабости. Вы хозяин всего, вы владеете всем, но она владеет вами.

Я не возражал. Мари поднялась и вышла одна. Нас не должны были видеть вместе. Мы уговорились встретиться в четверг в книжной лавке, когда там будет и Симон.

Хотя я не запоздал к ужину, мама, стоя на площадке, подстерегала мой приход. Я увидел ее большое бледное лицо, склонившееся над перилами: «Ах! Вот и ты!» Она не отойдет ни на шаг,

она будет следить за мной не спуская глаз, таков будет ее первый ход. Я понимал, что замысел Мари можно осуществить лишь в том случае, если мама уедет в Мальтаверн. Она должна узнать о моей помолвке из письма. Выступить против нее с открытым забралом я не решусь никогда. А если бы и решился, она разоблачит меня немедленно. Никогда еще мне не удавалось солгать ей так, чтобы она тут же не пристыдила меня.

В течение всей зимы, не посылая никого шпионить за мной, не прибегая ни к какой слежке, она каждый четверг узнавала, что я прихожу домой после тайного свидания с ее неизвестными врагами. В те вечера, когда Мари ждала меня в доме на улице Эглиз-Сен-Серен и уводила в ледяную гостиную, я напрасно по возвращении домой мыл лицо и руки над умывальником в буфетной, прежде чем запечатлеть на маминой щеке ритуальный поцелуй, обязательный в любой самый поздний час. Моя мать притягивала меня к себе, вдыхала мой запах и сразу распознавала нечто чужеродное. Ни разу она не сказала об этом. Но я знал, что она это знает. Мы оба с жестокой проницательностью видели друг друга насквозь.

Впрочем, этой зимой она получила неоспоримые доказательства, что я ее обманываю. Я,

ненавидевший танцы, стал безотказно принимать все приглашения и чуть не каждый вечер надевал смокинг или фрак. Провожая меня, мама говорила: «Потом все расскажешь...» — и принималась расспрашивать сразу же, едва я возвращался домой. Она хотела все знать о званом вечере, и немного ей требовалось времени, чтобы догадаться, что я сам ничего не знаю, так как вовсе там не был или забежал лишь на минутку, достаточно было самых простых вопросов. На балах я никогда не задерживался. И еще одно доказательство: она ни разу не встречала меня у причастия; я устраивался так, чтобы не ходить к мессе, если мама была в церкви. Даже на сочельник я был приглашен к товарищу за город.

Луи Ларп всегда вручал маме всю почту, и она сама ее просматривала. Подозрительных писем там никогда не было. Она еще не напала ни на след Мари, ни на след Симона. Мы больше никогда не выходили вместе. Мы отказались от встреч у Прево и в кафе на углу улицы Эспри-де-Луа. Мы встречались или в книжной лавке после закрытия, в закутке Мари, или в гостиной на улице Эглиз-Сен-Серен. Теперь и думать было нечего, чтобы Симон переступил порог дома на улице Шеврюс, и весной я сам несколько раз навестил

его в Талансе. Он жил на пансионе у какой-то вдовы, в одном из тех одноэтажных домишек, которые в Бордо называют «балаганами». Симон долго сопротивлялся моему намерению посетить его: непреодолимое расстояние установилось между классами с покорного согласия бедняков и часто против воли богачей, стыдящихся своего богатства, как я.

Это была самая обычная комната, обставленная мебелью красного дерева, с окном, выходящим в сад священника, за оградой которого шла дорога на Байонну. Повсюду были разбросаны журналы и книги, но не романы, не стихи, а «Паскаль» Бутру, «Жизнь святой Терезы, написанная ею самой», «Святой Франциск Ассизский» Иоргенсена, сочинения Жана де ла Круа... В первый мой визит, когда я удивился такому выбору книг, Симон сказал: «Пополняю свое религиозное образование благодаря вам» — и тут же перевел речь на другое. В тот день я понял, что для него все теперь зависело от исполнения тайной мечты: я и он в Мальтаверне. Мечта, ни с чем не сообразная и все же осуществимая.

Хотя из нас троих Симон был самым нетерпеливым, он считал, что Мари не права, желая приступить к действиям как можно скорее, и не

советовал мне добиваться у мамы разрешения на поездку в Париж или в Ниццу, откуда я мог бы сообщить ей о своей помолвке. Симону казалось очень важным, чтобы бомба разорвалась во время пребывания моей матери в Мальтаверне, расположенном всего в нескольких километрах от Ноайяна. Тогда ее демонстративный отъезд и переселение Дюберов состоятся немедленно. Долго ждать нам не придется: несмотря на твердое намерение моей матери не оставлять меня одного, ей придется поехать в Мальтаверн проследить за сбором смолы, продать крепежный лес и подсчитать наличие сосен после нескольких вырубок.

Мы не предусмотрели, что на своем «Дионе» она может, выехав на рассвете, тем же вечером вернуться в Бордо. Дважды она оставалась в Мальтаверне ночевать, но только на одну ночь, а надолго не задерживалась ни разу. Так прошел двадцать второй год моей жизни, и за это время незаметно и постепенно Мари превратила мальчика-ангела в мужчину, подобного всем другим. Однако мальчик продолжал жить вопреки всему, и всякий раз он возрождался снова, но не затем, чтобы проклинать Мари: он прижимался к ней еще теснее и позволял себя баюкать.

Одно утешение все же было мне дано в том году: к Симону вернулась надежда. Будущая жизнь в Мальтаверне представлялась ему уходом в убежище, где мы оба — независимо от того, останусь я там или нет, — будем вместе искать и в конце концов обретем истину. Да, мы вместе совершим открытие. Какое открытие? Он говорил, что благодаря мне прозрел: все, чем церковь вызывает ненависть своих врагов, действительно заслуживает ненависти — это бывало и раньше, в любую годину истории человечества, — как заслуживает ее фарисейская религия мадам. Враги яростно нападали на те установления, перед которыми иные люди преклонялись, как, например, одержимый грегорианец Гюисманс[31]. Но преклонение было так же бесплодно, как и проклятия. Мы с Симоном знали, что в известный момент истории бог проявлял себя, что он проявляет себя и поныне, в судьбах отдельных мужчин и женщин, которых объединяет общая черта — стремление теснее приобщиться к кресту.

— Вам это заказано, господин Ален, потому что вы — «богатый юноша». А вот мне — нет.

---

[31] Примечания: 31

Гюисманс Жорис (1848 — 1907) — французский писатель. Постепенно в своем творечетсе отошел от натуралистических тенденций и примкнул к религиозно-мистическим.

Я, как был беден, так бедным и останусь. Вы не должны будете платить мне ни одного су сверх того, что дает моему отцу мадам. Я буду более чем вознагражден, если вы поделитесь со мной благами своих озарений, этим дарованным вам свыше светом.

Я предостерег его от иллюзий, будто существует верный способ ощутимо приблизиться к богу, напомнил, что меньше всего это зависит от нашей воли, а само это желание свидетельствует о поисках упоения, которые приводят нас к тому, чего хотели мы избежать.

Итак, ничего не произошло. Это был мой последний год перед защитой диплома, поэтому при любом затруднении я оправдывался подготовкой к экзаменам. Мари и Симон уточняли план военных действий применительно к условиям летних каникул. Оба они в толк не могли взять, как это двадцатидвухлетний юноша боится отправиться в путешествие без матери, и не только потому, что не хочет ее огорчать, но и потому, что сам все еще остается ребенком, который, бывало, приходил в ужас, когда мать на минуту оставляла его одного в вагоне, чтобы купить газету. Во время поездок мама, еще больше чем в повседневной жизни, освобождала меня от всего. Но она ни-

когда не помогала мне в моих занятиях, как это делала Мари, когда я готовился к письменным экзаменам и каждый день приходил к ней на улицу Эглиз-Сен-Серен после закрытия книжной лавки. Маму я уговорил перенести ужин на более поздний час.

Так истек этот год, от которого мы ждали столько драматических событий, но который прошел без всяких историй, кроме истории нашей внутренней жизни; но об этой общей нашей истории, и даже о своей собственной, я не могу сообщить ничего, что не было бы придумано или приукрашено из желания заинтересовать Донзака. Мне кажется, моя душа как бы еле тлела — подготовка к экзаменам заставила меня все остальное, и даже бога, взять в невидимые скобки. Я больше не сомневался в Мари, потому что она страдала.

И даже бога... Здесь Донзак снова обнаружит свое влияние. Он проповедовал, что иногда надо давать своим естественным влечениям передышку. Я знал, что Мари печальна, потому что между нами скоро все будет кончено, но со времен своей работы у отца Х. она сохранила воспоминание об одном мистике, создавшем целую доктрину так называемого «таинства преходящего мгновения». Она говорила: «Эта минута принадлежит

мне, ты здесь, я здесь, дальше я не загадываю».

Не могу сказать, чтобы в течение этого времени ко мне порой не возвращались сомнения насчет Мари: один раз она уже солгала, она может снова солгать. Я считал, что она вполне способна разыгрывать роль страдающего из-за меня создания, она знала, что именно это и было мне нужно, чтобы не страдать самому. Может быть, она раскрыла мне свой план не до конца. Может быть, в нем таилась ловушка, о которой знала лишь она, и в один прекрасный день я окажусь связанным с ней перед богом и людьми. Но я достаточно осторожен, меня не захватишь врасплох, я буду принадлежать ей, только пока я этого хочу... Из нас троих один Симон был упоен надеждой.

ГЛАВА VIII

Все произошло совершенно неожиданно. В июле я получил диплом с отличием. Так как я отказался сопровождать маму в Дакс, где она собиралась пройти курс лечения, она тоже не поехала, чтобы не упускать меня из виду, и мы с ней остались один на один, обмениваясь только самыми необходимыми словами в выжженном небесным огнем, словно пустыня, августовском Мальтаверне. Мы жили как ночные птицы, вылетающие из своего укрытия лишь в сумерках.

Мари, заточенная в своей книжной лавке, прощаясь со мной, не смогла сдержать слез, она надеялась, что придуманный ими с Симоном план, пусть даже и безрассудный, даст ей силы выжить в Бордо, где не будет меня. Она скоро увидит меня снова и наконец-то узнает Мальтаверн.

Моя мать решила выполнить обещание, данное когда-то старику Дюберу, — отвезти его в Лурд на паломничество, которое проводила наша епархия с 17 по 20 августа. Дюберы были в восторге, но также и в некотором страхе, потому что путешествие предполагалось совершить на

мамином «дионе». Луи Ларп с женой получили отпуск. Таким образом, я буду в Мальтаверне один с Прюданом (но он был нашим сообщником), на попечении жены Прюдана, женившегося еще в январе, — трепетавшей перед ним рабыни, которая, конечно, не скажет никому ни слова, если он прикажет ей молчать. Буржуазные дома поселка опустеют, наши дамы, эти старые овечки, отправятся либо в Лурд, сбившись вокруг господина настоятеля, либо на отдых в горные и приморские деревушки.

Мари и Симон остановятся у Дюберов. Дальше мы не загадывали. О том, что произойдет между нами, а потом между мной и мамой после ее возвращения, я старался не думать. Зато я отлично видел, как по мере приближения дня отъезда возрастало ее беспокойство, потому что я оставался в Мальтаверне один. Почему бы, спрашивала она, не провести мне эти три дня в Люшоне, она тоже приехала бы туда, поручив Дюберов господину настоятелю? Должно быть, маму покоробила резкость моего отказа, а главное, теперь я знаю, это пробудило в ней подозрения. Я заявил, что не хочу лишать себя радости остаться наедине с Мальтаверном, неожиданно освобожденным от всей своей человеческой субстанции. Она больше

не называла меня пустомелей, она вглядывалась в меня, доискиваясь, что скрывается за этими сумасбродными речами.

— Что же ты будешь делать эти три дня?

— Буду бродить. Пойду взгляну еще разок на старика из Лассю, посмотрю, каким я стану через шестьдесят лет, когда превращусь в старика из Мальтаверна.

Я дрожал, как бы мама не передумала и под каким-нибудь предлогом не отменила поездку. Я вздохнул свободно, лишь когда услышал на дороге замирающий шум автомобильного мотора, и, оставшись на террасе один, с наслаждением втянул в себя утренний туман, предвещавший знойный день, нескончаемый день ожидания. Симон и Мари должны были приехать вечерним поездом. Прюдан поедет на станцию один и привезет их в Мальтаверн прямиком через лес, где вечерами не встретишь ни души.

Жена Прюдана выскребла добела комнату его родителей, постелила самые лучшие простыни. Я велел ей приготовить на всякий случай комнату для гостей в замке (так называла она наш дом), где даме будет удобнее, так как там есть туалетная комната. Она повиновалась, не выказав ни малейшего удивления.

Я не хотел бы, чтобы описание этого вечера, этой ночи походило на те сочинения, которым завидовал Андре Донзак в наши школьные годы. Однако же пусть знает свидетель моей жизни, что то был миг, озаривший эту жизнь, придавший ей истинный смысл, ибо то была ночь греха и вместе с тем — ночь благодати.

Я взял у Мари чемодан и пошел впереди нее в комнату для гостей, не спрашивая согласия ни у нее, ни у Симона. В светлом летнем платье и соломенной шляпке она казалась совсем другой Мари, совсем не той, что у Барда: юная девушка, которой я никогда не знал, которую знали другие. Но эта мысль причинила мне лишь мимолетную боль.

Мы собрались все трое в столовой и поели наспех в полном молчании. Мари сама предложила мне прогуляться по парку. Она вышла на террасу. Я накинул ей на плечи свою старую школьную пелерину. Она медленно сошла по ступеням. И сказала:

— Все это я уже знала заранее через вас. Как здесь все похоже на вас.

Я сказал, что, если бы она испытала разочарование, я бы ей никогда не простил.

Она знала только исхлестанные морем сосны

Сулака, рядом с ними сосны Мальтаверна казались исполинами. Я взял ее под руку, чтобы она не оступилась. «А это большой дуб?» Она узнала его, хотя это был такой же дуб, как все другие; я прижался к нему губами, согласно своему ритуалу, потом мы с Мари обменялись нашим первым поцелуем.

«Больше всего я люблю в Мальтаверне...» Об этом я мог говорить без умолку. Я все уши прожужжал Мари, рассказывая о своем отвращении к живописным местам и о том, что чувствую природу только там, где могу наслаждаться ею один, один или с теми, кто любит ее вместе со мной, во мне. До речушки мы не дошли, луг был уже весь мокрый от росы, но мы стояли поодаль неподвижно и молча, вслушиваясь в потаенное журчание, которое все не умолкало и не умолкнет во веки веков.

— Почему, — спросил я Мари, — ни на берегу большой реки, ни даже на берегу океана я не испытываю того чувства, что вызывает во мне этот ручеек, где я ребенком пускал кораблики, которые мастерил из сосновой коры?

Ведь знать, что ты смертен, — совсем не то, что чувствовать это всей своей плотью. Этому научило маленького мальчика журчание Юра в

те давние летние ночи, когда он замирал, вслушиваясь в тишину — тишину, звенящую пением цикад, прорезанную рыданием ночной птицы или призывным стоном жабы, полную едва ощутимого шороха ветвей.

Мы остановились посреди аллеи послушать тишину. Мари прошептала:

— Мне кажется, здесь кто-то ходит. Я слышу, как шуршат сосновые иглы.

Но нет, это был просто ветер, а может, хорек: столько всяких зверушек пожирают друг друга или соединяются в ночи.

А мы сами разве ведем себя иначе? И все-таки мы совсем другие.

Эта ночь была для нас той минутой, когда мы ближе всего подошли к истине, которую предчувствовали оба (я знаю это потому, что мы долго говорили об этом, стоя босиком на балконе в час самой глубокой тишины): человеческая любовь — это одно из воплощений того, кто сотворил нас, но иной раз — и так было для нас двоих в эту греховную ночь — она похожа на любовь, посвященную творцом своему творению и творением — своему творцу, а счастье, затопившее и Мари и меня, было словно заранее дарованное нам прощение.

Я задремал. Меня разбудили рыдания. Я прижал ее к груди: отчего она плачет? Сначала я не понял слов, которые она шептала сквозь слезы:

— Никогда больше! Никогда!

— Нет, Мари, нет, навсегда и навеки.

Она возразила:

— Ты сам не понимаешь, что говоришь.

Самое странное, что в эту минуту все мои подозрения исчезли бесследно. Казалось бы, все ясно: она привела меня — возможно, без всякой хитрости и, несомненно, с любовью, — однако же привела меня к торжественному обещанию связать себя с нею навсегда, но даже такая очевидность не могла устоять перед откровением этой ночи. В том счастье, которое дают друг другу два живых существа, нет места лжи. Это, во всяком случае, верно, а для меня было еще более верно, чем для любого юноши моих лет: ведь Мари исцелила, освободила меня от тайного запрета. Может быть, это ненадолго? Нет, навсегда! Навсегда!

— Видишь ли, — сказал я, — самым неприятным, даже отвратительным для меня в нашем плане была необходимость лгать моей матери, притворно уверять ее, будто я хочу на тебе жениться. Так вот, моя радость, теперь я скажу, глядя ей прямо в лицо: «Я приведу тебе мою неве-

сту...» И это будет правдой. Ты плачешь? Почему ты плачешь?

— Твоя невеста... Ты прав: это по крайней мере будет правдой. Я буду твоей невестой «взаправду», как говорят дети.

Я спросил, разве в эту ночь не была она моей женой «взаправду»?

— Да, в эту ночь... Мне останется эта ночь.

Я сказал:

— И все ночи моей и твоей жизни...

Петухи, перекликаясь с фермы на ферму, возвестили рассвет. Скоро встанет жена Прюдана, Мари хотелось, прежде чем вернуться в свою комнату, еще раз выйти со мной на балкон, несмотря на густой туман, который ветки сосен словно сбрасывали с себя. Она вздохнула:

— Мальтаверн... Я гляжу на тебя и не могу наглядеться, как будто боюсь позабыть тебя.

Я сказал:

— Кто-то ходит по аллее.

Мы вернулись в комнату. Наверное, это был Прюдан или его жена. Из-за тумана нас все равно не было видно, а разговаривали мы совсем тихо. Последнее наше объятие было коротким. Она убежала в свою комнату, а я с наслаждением погрузился в сон, от которого меня пробудила

жена Прюдана, поставив передо мной поднос с завтраком. Даме она уже подала кофе. Я спросил, кто это ходил совсем рано, часов в шесть, вокруг дома, она или Прюдан? Нет, они не ходили. Должно быть, это... Она замялась. Мадам разрешила Жаннетте Серис играть в парке, когда мсье не будет. Она тут целые дни бегает, чувствует себя как дома. Утром она, наверное, приходила вытащить верши, которые закинула в Юр вчера вечером.

— Вчера вечером она была там?

— О да, но она хорошо спряталась, ее и слышно-то не было.

Я наспех оделся, и мы все трое собрались на совет в кухне Дюберов. Не было никакого сомнения, что моя мать поручила Вошке шпионить за нами, и теперь она все узнает сразу же по приезде. У нас уже не было выбора. Я решил уехать вместе с ними в Бордо, передав через Прюдана письмо, извещающее маму о моей помолвке. Симон переедет ко мне на улицу Шеврюс, он может спать на кровати Лорана. Правда, в августе жить в Бордо невозможно. Но «наш особняк на улице Шеврюс — настоящий ледник», — как говорит мама. Если события развернутся так, как мы предполагаем, то, едва лишь моя мать и Дюберы покинут Мальтаверн, мы водворимся там, и уже навсегда.

Из нас троих больше всех был воодушевлен открытием военных действий Симон. Он не мог не догадаться, как провели эту ночь Мари и я, но, казалось, это не причиняет ему боли.

Все утро мы просидели на кухне у Дюберов, взвешивая каждое слово в письме, которое должно было нанести первый удар моей матери и которое Прюдан вручит ей, едва она выйдет из автомобиля. Первый набросок, целиком принадлежавший мне, красноречивый и неистовый, в котором вылились все мои обиды, вызвал восторг Симона, но отнюдь не Мари, и я подчинился ее доводам. В конце концов мы сочинили короткое и корректное письмо: «*В твое отсутствие я принимал здесь молодую женщину, свою невесту, которую хотел бы поскорее тебе представить. Мы знакомы уже несколько месяцев. Она работает у книготорговца Барда и очень образованна. Юность ее прошла в суровых испытаниях...*» Я вспомнил о печальном конце ее отца: моя мать, несомненно, знала эту историю. Симон спросил: «Вы не боитесь, что ее хватит удар?» Я чувствовал, что он сам скандализован этой помолвкой (хотя и считал ее только хитроумным ходом). Приказчице от Барда выйти замуж за молодого Гажака! Это было настолько невероятно, что мадам не

поверит и заподозрит ловушку.

Следовало также заручиться молчанием Прюдана. Он всегда гордился своим братом. И вдруг Симон возвращается в Мальтаверн — и все его дипломы теперь ни к чему! Прюдан, хотя и был старшим, не мог претендовать на место отца: он не умел ни читать, ни писать и с грехом пополам считал, но возвращение Симона — каким это будет для него поражением!

Пока оба брата спорили в кухне. Мари сказала мне, что хотела бы взглянуть на Юр: ведь ночью она слышала только его журчание. Но за нами шпионила Вошка, она еще, того гляди, пойдет следом, прячась за соснами. Мне было тошно и подумать, что я могу столкнуться нос к носу с этой мерзкой девчонкой. «Я способен удушить ее!»

Мари спросила, нельзя ли выйти на берег Юра, минуя парк. Да, конечно, песчаных дорожек сколько угодно, и там уж Вошке спрятаться негде. Мы вышли. Остатки утренней прохлады еще держались в клочьях тумана, но вот запела одна цикада, потом другая, третья, и зазвенели все вразнобой. Я сказал Мари:

— Не думай, что я заставлю тебя жить в такой нечеловеческой жаре. Мы будем приезжать сюда только на время, подышать свежестью...

Мари не ответила. Она с трудом шагала по песку. Должно быть, ее все время мучило составленное нами письмо. Она сказала:

— Представляю себе чувства твоей матери, когда она прочтет письмо, и, что ни говори, она будет права. А она еще не знает, что я старше тебя на десять лет... И всего, что было со мной за эти годы... И ты... такой, как ты...

— Такой, как я? Что хорошего в этом затянувшемся детстве, в том чудовище, которое ты называешь ангелом? А ты, Мари... Люди должны были оберегать тебя, а оказались кровожадными волками...

Я увидел, что она плачет. Мы прошли лугом к берегу Юра и сели на ствол поваленной ольхи. Прижавшись ко мне, она продолжала плакать. Я сказал: «Осторожно, здесь крапива». Эта крапива вокруг нас превратится в моих воспоминаниях в мяту, в ароматные листочки, которые я растирал между пальцами. А чахлый ручеек под ольховыми деревьями — немало из них теперь уже вырублено — сольется, как всегда, с отчаянием вечного убывания; он увлекал меня за собой вместе со всем, что меня окружало, и я значил не больше, чем вырезанные из сосновой коры кораблики, которые мы с Лораном пускали вниз

по течению... А эта прижавшаяся ко мне женщина, которая больше не плакала, это бедное, служившее другим тело, заботу о котором я взял на себя до конца моей жизни...

Туман не рассеивался, но пробивавшиеся сквозь него солнечные лучи жгли невыносимо. Должно быть, днем будет гроза. Хоть бы пролился наконец дождь на жаждущие ланды, где каждый день то там, то здесь вспыхивали пожары: говорили, что виноваты пастухи, но достаточно было солнечного луча, упавшего на осколок бутылки... Какая таинственная алхимия преображает в моих воспоминаниях все ничтожные подробности, словно то, что они отошли в прошлое, дает им право на преображение!

Лучше было дожидаться часа отъезда у Дюберов, там было прохладнее. Мы рассчитывали сесть в поезд на станции Низан, в десяти километрах от Мальтаверна. Туда мы доедем на двуколке Прюдана. Я предупредил Мари, что придется ехать сразу же после завтрака, в самый зной, когда даже скот не выходит на волю. «И даже Вошка», — прошептала Мари.

Тряска в гремящей двуколке под палящим полуденным солнцем, среди роя слепней и мух, по выбитой пыльной дороге — вот каким кошмаром

закончился наш сон в летнюю ночь. Я сидел на заднем сиденье между обливавшимся потом Симоном и Мари. Руку я прижал к спинке сиденья, чтобы предохранять Мари от толчков. Она держалась прямо, неподвижная, безмолвная, а я со своим даром угадывать тайные чувства других людей — я знал, что в ее душе волшебный Мальтаверн нашей ночи превращается в проклятую землю, от которой надо бежать не оглядываясь. Мы услыхали автомобильный рожок, потом шум мотора. Стелла, наша старая кобыла, встала на дыбы. Нас обогнал «серполле», где сидело за рулем какое-то чудовище в очках. Пыль поднялась такая, что Прюдану пришлось постоять на обочине дороги.

Поезд запаздывал. Мы ждали его почти в полном одиночестве на раскаленной платформе заброшенной станции, среди клеток с подыхающими от жажды курами.

ГЛАВА IX

Мари умолила меня не приходить на улицу Эглиз-Сен-Серен в отсутствие ее матери, которая уехала в Сулак. Мы можем видеться сколько угодно в ее закутке в книжной лавке.

Наша лестница на улице Шеврюс казалась раем. За те три дня, что мы с Симоном прожили вместе, поджидая ответа от мадам, мы не раз покидали маленькую гостиную и спасались от жары на ступенях этой ледяной лестницы. Ночами, еще более душными, чем дни, нас осаждали несметные полчища самых крупных, самых ядовитых москитов, какие только водились в наших широтах. У меня была кровать с пологом: прежде чем заснуть, мне следовало только проверить, не запер ли я в клетку вместе с собой и какого-нибудь хищника. Но на кровати Лорана полога теперь не было. На второй же день я увидел, что у Симона все лицо перекосилось: москит ужалил его в веко. Он был удивлен, что меня это огорчает.

— Да это пустяки, господин Ален. Стоит ли беспокоиться из-за москитов, из-за шишки над глазом!

Спал он тем не менее отлично и на рассвете ушел из дому. Верно, хотел присутствовать на мессе. Я не решился спросить у него, но, по правде говоря, не сомневался в этом. После завтрака мы встретились в темной, прохладной книжной лавке, где почти не было покупателей. Бард отдыхал в Аркашоне и всецело положился на Мари. Балеж был болен или притворялся больным. В витрине новинок я нашел «Антологию современных поэтов» Леото и Ван-Бевера и, читая ее, совершал открытие за открытием. Особенно нравились мне стихи некоего Франсиса Жамма: «Вот-вот посыплет с неба снег...» Они восхищали меня, «ранили радостью», но я не мог разделить это счастье ни с Мари, нечувствительной к такого рода поэзии, ни с Симоном, нечувствительным к поэзии вообще; кроме того, Симон гораздо больше нас тревожился, ожидая ответа мадам. Он торопил меня домой: «Скоро должны принести почту...

Мы пересекли улицу Сент-Катрин и по узкой улочке Марго спустились к улице Шеврюс. Я шел немного позади Симона, глядя себе под ноги, весь поглощенный сочинением какой-то истории. Вдруг меня оглушили слова Симона, хотя он произнес их вполголоса:

— Мадам здесь! Приехала мадам!

Я поднял голову в полной растерянности. Да, мамин «дион», наше ручное чудовище, стоял перед крыльцом. Что же нам делать? Я посоветовал Симону вернуться в книжную лавку и предупредить Мари. Я встречусь с матерью один на один и, как только смогу, присоединюсь к ним. Он не заставил себя долго просить и пустился наутек. Я трусливо позавидовал ему: ведь мне предстояло выступить в одиночку против этого опасного, разгневанного божества. Как могли мы быть настолько глупы, чтобы не ждать от нее другого ответа, кроме письма, чтобы не предположить, что она обрушится на нас сама, явившись перед нами во плоти?

Впрочем, этот приезд не был немедленной реакцией: ведь с тех пор, как Прюдан вручил ей наше письмо, прошло три дня. Очень скоро я узнал, что побудило ее примчаться на улицу Шеврюс. Едва я вошел в маленькую гостиную, где она стояла, не успев еще снять шляпку, как она прижала меня к груди:

— Бедный мой малыш! Какое счастье, что я приехала не слишком поздно.

Она не сомневалась, что стоит ей рассказать мне все об этой девице, как я от нее откажусь и не смогу больше думать о ней без отвращения.

Я узнал, что, получив наше письмо, два дня она провела словно пораженная громом. Потом она отправилась посоветоваться с господином настоятелем, и то, что она от него узнала, превзошло, по ее словам, своей мерзостью и без того омерзительную историю сборщика налогов. Когда разразился этот скандал, господин настоятель был викарием в Лепарре. В то лето он поддерживал не постоянные, но все же довольно близкие отношения с отцом Х. Таким образом, ему стал известен другой скандал, хотя и не разразившийся, но гораздо худший, чем первый.

В глазах моей матери женщина, способная соблазнить священника, духовное лицо, грешить с ним или хотя бы, поправилась она, пытаться согрешить (в том случае, если, как утверждают друзья отца Х., ничего не произошло, не следует впадать в грех необоснованного осуждения), — такая женщина одержима дьяволом, проклята и одним своим прикосновением может перенести на другого это проклятие, как постыдную, неизлечимую болезнь.

— Теперь ты видишь, ты сам онемел от отвращения...

— Да нет же, бедная мамочка, я все это знал.

— Знал?!

Изумление лишило ее дара речи. Я все знал — и собирался дать этой девице свое имя, познакомить ее с матерью, подарить ей Мальтаверн, связать с ней навсегда свою жизнь! Она закрыла лицо руками хорошо знакомым мне театральным жестом.

— Боже мой, — простонала она, — чем я прогневила тебя?

Этот жест почти всегда сопровождался ропотом на бога. И на этот раз тоже.

— Попытайся понять, мама.

Я напомнил ей, что любое событие выглядит по-иному, если взглянуть на него с другой стороны. Орден, к которому принадлежит отец Х., встал на его защиту, приписав всю вину дурной женщине, истеричной девушке, которая желала погубить его, но ничего не добилась. Вот этот-то звон и услышал наш настоятель. Однако речь шла о совсем юной девушке, верующей христианке, преданной ученице святого отца, которая в постигшем ее жестоком горе не ведала другой опоры, кроме него.

— Я знаю, кем была она во всей этой истории, мрачное продолжение которой тебе неизвестно: маленькой мученицей. Да, вот кем она была. А теперь, — добавил я, — она будет моей женой, ко-

торую я имел счастье встретить на своем пути.

— Ты сошел с ума, бедное мое дитя, она свела тебя с ума!

Мы опасались разгневанного божества, а передо мной стояла сраженная горем мать, удрученная христианка, которую мои слова скорее утвердили, нежели поколебали в ее убеждениях. Впрочем, мне никогда не приходилось видеть, чтобы мама задумывалась над чужими доводами или хотя бы выслушивала их. Она искала носовой платок в своем ридикюле, стоя посреди комнаты, глядя на чудовище, в которое превратился ее сын. Она высморкалась, вытерла глаза. Я попытался обнять ее, поцеловать, но она отшатнулась, словно боясь моего прикосновения. Может быть, ей действительно было страшно?

— Послушай, Ален...

Она видит, что я одержим, околдован, что она ничего от меня не добьется, но я могу уступить матери хотя бы в одном — дать ей время на размышление, согласиться на отсрочку, которая, принимая во внимание мой возраст, была бы обязательной, даже если бы речь шла о нормальной помолвке с девушкой нашего круга. Мама говорила, не повышая голоса, она чувствовала под собой твердую почву. Кто может не счесть

это предложение разумным? Я согласился с ней, неопределенно кивнув головой.

— Скажем, один год... Через год мы снова обо всем поговорим.

Я почувствовал, как затягивается у меня на шее петля. Я взбунтовался и заявил, что могу ждать только четыре месяца, оставшиеся до Нового года. Четыре месяца, что ж, за это время все-таки можно передохнуть, оглядеться. Она попросила посвятить их ей целиком, не отходить от нее, не расставаться с ней до самого Рождества.

— Только в том случае, — сказал я наугад, — если в начале учебного года моя работа не потребует поездки в Париж.

— Какая еще работа?

— Моя диссертация.

— Ты пишешь диссертацию? Какую диссертацию?

— Но я же говорил тебе. Ты никогда не слушаешь, когда я рассказываю тебе о своей работе. Я пишу о зарождении движения францисканцев во Франции. Взять эту тему посоветовал мне мой профессор Альбер Дюфур.

Но она уже не слушала меня. Она сняла шляпку, медленно вытащила из нее длинные булавки. Я спросил, не собирается ли она вернуться в

Мальтаверн. Разумеется, нет, она не оставит меня одного. Она телеграфировала Луи Ларпу и его жене. Сегодня вечером они будут здесь.

— А потом поедем куда захочешь или останемся в Бордо. Я в твоем распоряжении, как, в сущности, была всегда.

Что делать? О боже! Как мог я тешиться детской надеждой (впрочем, мы разделяли ее все втроем), что действительность подчинится нашему плану, что все пойдет так, как мы решили, что поступки моей матери будут именно таковы, какими мы их себе представляли?

— У меня к тебе еще одна просьба, Ален, я думаю, ты мне в этом не откажешь: согласись повидаться с господином настоятелем. Завтра он придет к завтраку. Можешь говорить с ним, можешь не говорить, как тебе будет угодно.

Как только мать ушла к себе, я бросился в комнату Лорана, впопыхах уложил чемодан Симона Дюбера, сорвал с кровати простыни и засунул их под комод. С чемоданом в руках, изнемогая, обливаясь потом, я появился в книжной лавке перед Мари и Симоном. Мари, отпустив покупателю «Путеводитель по Юго-Западу», прибежала к нам в закуток, где Симон донимал меня вопросами.

— Ах, Симон, — сказал я ему, — клянусь вам, ма-

дам не умирает, мадам и не собирается умирать.

Я постарался дать им точный отчет обо всем, что произошло между мной и матерью.

— Как всегда, я подчинился ей, и так оно будет и впредь...

Мари возразила:

— Но, бедный мой малыш, никогда не были вы в такой степени хозяином положения, достаточно только проявить волю. Ваша мать согласится на все, лишь бы расстроить нашу помолвку... по крайней мере в данный момент, а вообще-то не обольщайтесь: от чего она не откажется никогда — это от тысячи гектаров Сериса, от возможности воцариться перед смертью в этом неоглядном королевстве сосен и песка, в этой огнедышащей печи...

— Но, Мари, — возразил я, понизив голос, — ведь мы «взаправду» помолвлены.

Она покачала головой и, когда Симон направился в магазин, желая оставить нас вдвоем, сказала:

— Да, ты мог так думать в те недолгие мгновения нашей ночи. Будь благословен за эти мгновения. Но ты отлично знаешь, что это не «взаправду»...

— Почему, Мари? Почему?

Облегчение, которое я почувствовал, ужаснуло меня самого. Но тут вернулся Симон, он был так поглощен своими мыслями, что, казалось, нас и не видел.

— Мы были идиотами, — сказал он. — Сначала я подумал, что Прюдан нас предал. Но нет, пожалуй, было время, когда мадам и впрямь надеялась, что заставит вас плясать под свою дудку, если бросит Мальтаверн и увезет с собой моего отца. Но ведь она должна, кажется, знать, что даже в нашем местечке найдется больше чем нужно кандидатов на его место. А то, что отец мой знает границы поместья, — это, конечно, удобно, но на худой конец ведь существует земельный кадастр.

— А может быть, — сказал я Мари, — когда моя мать узнала от господина настоятеля, как хорошо вы поставили книжную торговлю Барда, она поняла, какую выгоду вы можете извлечь из Мальтаверна. Между нами говоря, моя мать никак не заслужила своей репутации деловой женщины. Ее животная страсть к собственности проявляется лишь в том, что она чванится своими стройными соснами, а ведь многие из них давно надо было бы вырубить, они гниют и теряют всякую ценность. Если вы станете хозяй-

кой Мальтаверна, вы увидите, что можно будет немедленно выручить сотни тысяч франков без всякого ущерба для имения. Даже напротив...

Она, смеясь, спросила, чего я домогаюсь: хочу соблазнить ее или внушить ей сожаление? Я запротестовал.

— Ах, — вздохнула она. — Вы истинный сын мадам. — И тихо добавила: — А воли у тебя, в сущности, не меньше, чем у нее.

— Да, — прошептал я, опустив голову. — И знаете, какая мысль преследует меня? Я знаю, на кого я буду похож в 1970 году. Я часто рассказывал вам о старике из Лассю...

Мари позвал какой-то покупатель, и она убежала, но Симон услышал меня.

— А я, господин Ален, каким буду я в 1970 году? Или, вернее, каким бы я мог быть, потому что к тому времени от меня останутся одни кости. Я не буду никем. А вот у вас будет настоящая жизнь, жизнь, о которой можно будет рассказывать, о которой вы расскажете сами, потому что меня, ее свидетеля, уже не будет в живых. Первую премию за сочинение и в 1970 году получите вы, вот увидите! А я...

— Вы, Симон — теперь мы это знаем, — вновь обретете себя, если вернетесь к своему исходному

положению. То царство, от которого вы отказались, оно внутри вас и пребудет с вами повсюду, где будете вы

— Никогда! — воскликнул он со сдержанной страстью, которой его акцент придавал комический оттенок. — Э! Уж не думаете ли вы, что я стану упрашивать их принять меня обратно!

Я не ответил, немного помолчал и, заметив, что он успокоился, спросил равнодушным тоном, встречает ли он когда-нибудь господина настоятеля. Нет, он с ним не видится, но «иногда мы обмениваемся письмами, он от меня не отступился».

— Завтра он будет завтракать на улице Шеврюс. Хотите, я приведу его в книжную лавку?

На этот раз Симон не вспылил, и его каменное лицо даже слегка порозовело, как в тот день, когда он впервые встретил меня на улице Сент-Катрин. Он сказал:

— Я был бы рад его увидеть... но только как друга, не как пастыря! С этим покончено. Больше мне никто не нужен, я сам знаю, что мне делать.

— Никто, Симон, кроме, может быть, его одного. Всегда есть кто-то, кто и в дурных и в хороших наших поступках понимает нас лучше, чем мы сами, яснее все видит. Для меня это был Донзак,

потом Мари и вы тоже.

— Я, господин Ален? Я? Что я мог вам дать?

— У вас прозрачная душа, вы помогаете мне верить в благодать. Вы лишены всего, чем я был осыпан и обременен: я начинал тонуть под грузом своего большого имения, тогда как вы...

Донзак поймет, что я излагаю здесь только суть нашего разговора в комнатке за лавкой; там произошел между мной и Симоном пророческий обмен: каждый из нас ясно увидел и определил призвание другого. Не в тот день я впервые задумал писать — я писал всегда. Но именно в тот день я увидел, что могу стать писателем, пусть даже использовав как сюжет жизнь самого автора. То, что я сейчас пишу, пишу в эту минуту, я смогу потом опубликовать. Ах, последняя глава!.. Мне остается лишь перефразировать конец последней главы «Воспитания чувств»: «Он не отправился в путешествие. Он не изведал ни тоски пароходов, ни утреннего холода после ночлега в палатке, он не забывался, глядя на пейзажи и руины, не узнал горечи мимолетной дружбы... Он не вернулся, потому что никуда не уезжал...»

Когда я подошел к выходу из Пассажа, я увидел, что буйный грозовой дождь затопил наш благословенный город. Я переждал ливень вместе

с другими прохожими, которые радовались и поздравляли друг друга. Однако я испытывал чувство освобождения не только из-за грозы. Завтра я опять вернусь сюда, мы назначили здесь встречу. Но с книжной лавкой я распростился, распростился навсегда. То, ради чего я однажды появился там, пришло к своему завершению. Я вынырнул из Мальтаверна и из своего нескончаемого детства и окинул взглядом всю жизнь, которую, как уверенно предсказывал Симон, мне суждено прожить. И вот я тоже ни в чем больше не сомневался, я был уверен, был убежден в том, что не умру, хотя недуг, поразивший моего брата Лорана, каждый день уносит столько юношей и девушек вокруг и у меня самого затемнение в левом легком... Но я не умру, я буду жить, наконец-то я начну жить.

Когда дождь прекратился и мне удалось перейти улицу Сент-Катрин и по улице Марго добраться до улицы Шеврюс, я уже знал, что больше и речи нет о том, чтобы отступать с Симоном в Мальтаверн. Я устремлюсь в Париж, и да свершится все, чему суждено свершиться. Всему свой час — и вещам, и людям. Но я не утрачу тот Мальтаверн, из которого я выплываю на поверхность, я унесу его с собой, это будет мое сокровище вроде того, кото-

рое мы с Лораном закопали под сосной в надежде вновь отыскать его на будущий год, хотя это был всего лишь ящичек с агатовыми шариками...

Донзак вправе не поверить, что все эти мысли предстали передо мной с такой ясностью сразу же после ухода из книжной лавки, пока грозовой дождь заливал Сент-Катрин. Но проблески этого видения уже были во мне, я чувствовал, что рубеж преодолен, что жизнь начинается, и это чувство радости я вновь переживаю сейчас, когда пишу. Радость! Слезы радости! Бесконечный путь, где даже грозы будут наслаждением. Мне двадцать два года. Мне двадцать два года! Разумеется, я не ликую по этому поводу: стоит подумать, как ужасно, что не пятнадцать, не восемнадцать... Я понимаю, что теперь каждый год — это ступенька, ведущая вниз. Но я останавливаюсь на пороге своих двадцати двух лет, вернее, тешу себя иллюзией, будто остановился, ибо на самом деле ни Юр, ни время не останавливают своего течения никогда.

ГЛАВА X

Мама ждала меня на лестничной площадке, но против моих ожиданий она отнюдь не была взволнована или измучена. Она стояла передо мной бледная от ярости, такая, какой я думал ее увидеть сразу после приезда, но какой она тогда не была. Бог знает что могло вывести ее из себя в мое отсутствие.

— Она спала здесь! Ты посмел уложить ее в постель своего бедного брата! Эту потаскушку!

Как же я этого не предусмотрел? Едва я вышел за дверь, она устремилась по следу, и чутье привело ее прямо к этим простыням, наспех засунутым под комод.

— Грязные простыни! Что говорить, грязи на них достаточно! Ты сам спал на них, и ты тоже! В доме своей матери, в постели своего брата! Никогда я не думала, что ты способен на такую мерзость! И ты еще смеешься, несчастное дитя! Что она только с тобой сделала!

— Я не смеюсь, я печально улыбаюсь тому, что ты снова совершаешь обычный свой грех — высказываешь необоснованные суждения. Молодая

женщина, которую ты так оскорбляешь, не зная ее, здесь никогда не была. А если бы она и пришла, то, да будет тебе известно (я на мгновение заколебался), нам не понадобилась бы постель Лорана.

Мама и бровью не повела. Должно быть, просто не поняла меня.

— Тогда кто же спал в этой комнате, на этих простынях? Кого это ты подобрал на улице?

— Но ты его отлично знаешь, мама, ты его знаешь чуть не с самого рождения.

Она решила, что я издеваюсь над ней. Когда я бросил ей в лицо имя Симона Дюбера, она на минутку онемела.

— О, только его тут не хватало! Этого отступника!

— Потеря веры еще не есть отступничество. Семинарист, покинувший семинарию, — жертва ошибки стрелочника.

— Он перешел в стан врагов, ты это отлично знаешь.

— А если я скажу тебе, что в те два дня, что он здесь жил, он каждое утро ходил к ранней мессе?

По правде говоря, бесспорных доказательств у меня не было. Возможно, он вставал на заре просто по старой крестьянской привычке. Но я

не устоял перед соблазном окончательно сбить с толку мою бедную мать, которую мне в этот момент даже стало жалко. Я сказал, что не огорчаться, а радоваться надо тому, что она от меня узнала.

— Пока ты тут делала обыск и искала следы моих преступлений, я разговаривал с Симоном — с ним-то и было у меня назначено свидание — и добился от него согласия встретиться с господином настоятелем. Не здесь, не пугайся.

Луи Ларп в белой летней куртке распахнул двери и провозгласил:

— Кушать подано, мадам.

Не помню, чтобы я когда-нибудь видел свою мать такой растерянной, как во время этого обеда, она была поколеблена в своей уверенности, в главной своей уверенности, что она всегда права, а люди именно таковы, какими она их считает, и иными быть не могут. Если я не обманывал ее и младший Дюбер действительно ходил каждое утро к мессе, значит, она судила о нем неправильно. Все, что я говорил об «этой потаскушке», ей было удобнее начисто отмести и придерживаться банальной истории о невинном мальчике, околдованном дурной женщиной. Но эту женщину она никогда не узнает. А вот Симон

вновь возник перед ней. Впрочем, он никогда не уходил со сцены, он всегда оставался предметом спора между мамой и настоятелем.

Откуда я черпаю все, что я тут пишу о маме, если не в самом себе, не в том представлении, которое сложилось у меня о ней? Не пытаюсь ли я, с тех самых пор как веду этот дневник, показать Донзаку воображаемый Мальтаверн, столь же ирреальный, как Спящая Красавица, Дракон или Рике-с-Хохолком? А что же было реальным? Моя мать, отличавшаяся здоровым аппетитом, всегда внимательная к тому, что ей подают, внушавшая кухарке трепет своими непререкаемыми суждениями, в этот вечер ни к чему не притронулась. Едва закончился обед, она удалилась к себе, предоставив мне полную возможность уйти из дому. Но я никуда не пошел; не желая терять ни глотка ночного воздуха, освеженного грозой, я распахнул все окна, но из страха перед москитами решил сидеть в темноте и даже не стал читать.

Чтение настолько заполняет всю мою жизнь (порой я спрашиваю себя, не избавляет ли оно меня от необходимости жить?), что, возможно, в двадцать два года я так и не знал бы, что скрывается за стертым выражением «внутренняя жизнь»,

если бы москиты моего родного города подчас не обрекали меня на неподвижное созерцание клочка звездного неба над крышами в проеме окна. Быть может, я так никогда и не узнал бы того, что я знаю и о чем не решусь рассказать никому из страха прослыть самонадеянным дурачком или сумасшедшим. Дело в том, что слова «царство божие внутри вас» верны буквально, то есть для того чтобы в него проникнуть, достаточно погрузиться в самого себя.

Опыт, проделанный мною в тот вечер, означает важную веху в моей жизни, потому что я проник в это царство так глубоко, как никогда раньше не проникал, хотя, без сомнения, пребывал тогда в состоянии тяжкого греха. А я был воспитан в убеждении, что смертный грех безвозвратно отлучает вас от бога: это побуждает грешника махнуть на все рукой, сказать себе «погиб так погиб...» и прекратить борьбу. В тот вечер, услыхав знакомый призыв, удрученный сознанием своей греховности, я прибег к уловке Донзака, которая состоит в следующем. Надо сказать себе: «Если бы я принадлежал к сонму христиан, горячо верующих, но лишенных исповеди, как лютеране или кальвинисты, я обратился бы с мольбой о прощении к тому, кто пребывает внутри меня. Полное

раскаяние, как нас учили, недоступно простым смертным, оно уготовано лишь святым. Если же оно окажется достижимым, то достижимо и царство божие — это Сезам, который непременно откроет свои врата».

Итак, я начал думать обо всем, что произошло между Мари и мной, и установил, что не только не испытываю сожаления, но считаю свой грех не кощунством, а благодатью, что хуже всего было бы, если б вообще ни одна женщина не вошла в мою историю... Но нет, тогда благодатью было бы ее отсутствие. Теперь уже не я говорил с самим собой. Великий покой снизошел на меня. Временами я напевал на музыку Мендельсона, которой нас научили в коллеже, или Гуно, которую больше любит господин настоятель, молитву Расина:

Сердец, исполненных любви к тебе,
Господь, вовеки не смутить покоя.
Они не помышляют о себе,
По высшей воле следуют своей тропою.
О, есть ли в небесах иль на земле
То счастье, что милей блаженного покоя
Сердец, исполненных любви к тебе?

На следующее утро мама не вставала с постели. Ставни в ее комнате были закрыты. Мучившая ее мигрень не шла ни в какое сравнение с мигренью у других женщин. Всю ночь она провела без сна, меняя компрессы на лбу. Она попросила меня извиниться перед господином настоятелем. Может быть, она преувеличила свою болезнь, желая облегчить нам свидание с глазу на глаз — ее последнюю надежду. Настоятелю было нелегко скрыть, какое счастье для него завтракать со мной вдвоем. Его дряблое, словно вылепленное из хлебного мякиша лицо, всегда такое озабоченное и печальное, было озарено невинной ребяческой радостью. Он сильно постарел, и его тонзура не нуждалась больше в услугах парикмахера, а главное, он перестал чваниться: этим он прежде всего и отличался от пастыря времен моего детства. Он утратил свой важный, самоуверенный вид.

При первых же его словах, которые во исполнение воли мадам должны были заставить меня разговориться, я уклонился. Я уверил его, что моя мать напрасно забрала себе в голову, будто единственная женщина, завладевшая моей жизнью, — это она и будто бы для меня не существует иной задачи, кроме освобождения из-под ее власти, хотя бы даже ценой безрассудного в глазах

общества брака. Я остерегся внушать господину настоятелю полное спокойствие, а лишь дал ему понять, что для меня еще ничего не решено.

— Но, — сказал я, — не я сейчас представляю для вас интерес (он хотел возразить), я хочу сказать, что не ради меня следует вам бросаться в воду, а ради Симона, с которым я вижусь теперь каждый день. Да, пришло время вытащить его на берег, но на этот раз он сам устремится туда, куда влечет его призвание, а вам останется только облегчить ему путь. И будьте осторожны, помните, что стоит вам заговорить о «духовном руководстве», как он сразу же замкнется в себе.

Он слушал меня со смиренным вниманием, и меня это трогало. Бедный настоятель, все его страстные, не знавшие применения отцовские чувства обратились на этого крестьянского парня, не бессердечного, конечно, но озлобленного и ожесточившегося, он готов был говорить о нем без конца.

— Я никогда не упускал его из виду, знаешь, я издали следил за ним, но он и не подозревал об этом. В первую зиму в Париже он заболел воспалением легких. Я завязал отношения с его хозяйкой, задобрил ее, и она сообщала мне о его здоровье — тайком, разумеется! Симон решил

бы, что он при смерти, если бы узнал, что я брожу вокруг его одра.

Мама лежала у себя в комнате, поэтому ничто не мешало настоятелю встретиться с Симоном на улице Шеврюс, а не в книжной лавке. Он согласился, «но только с разрешения мадам». Когда я, приоткрыв дверь, изложил маме нашу просьбу, она прервала меня слабым голосом:

— Ах, делайте что хотите, лишь бы он не попадался мне на глаза.

Встреча произошла в маленькой гостиной и длилась около двух часов; потом Симон отправился к себе, не простясь со мной. Они договорились, что Симон еще на год останется в Талансе, где местный священник, «святой аббат Муро» — друг господина настоятеля, — возьмет на себя заботы о нем и подготовит к возвращению в семинарию — разумеется, не в Бордо, может быть, в Иссиле-Мулино. Все это требовало немалых раздумий и хлопот.

Я со своей стороны обещал настоятелю, что скоро он увидит меня в Мальтаверне: моя мать в конце концов добилась от меня согласия на отъезд, но с оговоркой. Я заявил, что прежде я должен сделать необходимые для своей диссертации выписки в городской библиотеке. Вряд ли

кто-нибудь мог похвалиться, что видел меня там хоть раз за все это время...

Два месяца я не открывал этой тетради. То, что я пережил, не поддается никакому описанию, не укладывается в обычные слова: есть стыд, который невозможно выразить. То, что я смогу рассказать здесь об этом, будет, как и все остальное, лишь изложением событий в определенной последовательности и порядке. Итак, попытаюсь: я должен выполнить обещание, данное Донзаку... Говоря откровенно, зачем мне этот предлог? Словно сам я не испытывал горького удовольствия, снова и снова переживая этот стыд, час за часом, до самого конца моей истории, вернее, до конца одной главы моей истории, которая только еще начинается!

Я пишу это 20 октября, держа тетрадь на коленях, в нашем охотничьем домике, в урочище Шикан, затерянном в глуши, далеко от всех ферм. Стоит мягкая погода, туман, в этот день ждали большого перелета, но вяхири не летят: сегодня тепло, они прячутся в ветвях дубов и объедаются желудями. Я вижу остроносый профиль Прюдана Дюбера, его тяжелый подбородок, он высматривает сквозь вершины сосен небесные пути, по которым должны потянуться летящие стаи, если

только они появятся. Раздается свист, к Прюдану присоединяется какой-то фермер, спрашивает:

— *Rassat palumbes*?

— *Nade! Nade*![32]

Под могучими кряжистыми дубами, укрывшими нашу хижину, я всегда всем своим существом ощущаю вечность, так же как на берегах Юра проникаюсь сознанием бренности нашего бытия. Человек — это даже не мыслящий тростник, а мыслящая мошка, но и в те немногие минуты, что отпущены ей для жизни, она находит время для совокупления — вот что ужасно. Из всего происшедшего я попытаюсь записать то немногое, о чем, мне кажется, можно сказать.

Я не посещал городскую библиотеку вовсе не потому, что почти каждый вечер ходил на улицу Эглиз-Сен-Серен. С Мари я встречался только после закрытия магазина и легко мог примирить требования работы над диссертацией с требованиями своей страсти. Но в эти тяжкие тягучие дневные часы в отупевшем от жары городе я способен был только ждать... Что же тут такого? В чем, собственно, драма? Такова история всех

[32] Примечания: 32

— Летят вяхири?

— Нет! Нет! *(диал.)*

и каждого в известном возрасте, в известный момент жизни. Вероятно, нужно быть христианином, как я, или быть им хотя бы в прошлом, как Мари, чтобы думать, будто речь идет о чем-то большем, чем наша земная жизнь, когда мы уступаем инстинкту размножения, свойственному всем видам живых существ. Или, вернее, надо принадлежать к тому виду нетерпимых христиан, к которым принадлежу я: сделав уступку, они не ищут себе оправдания. Если суждено им погибнуть, они погибнут с открытыми глазами.

В одном я больше не сомневался — в искренности Мари в тот день, когда она говорила о своей боязни оторвать меня от бога, а я заподозрил, что она «притворяется». Она отказалась от бога для себя, но не для меня. Она уверяла, что я создан из сплава, в котором слилось то, что исходит от Христа и от Кибелы[33]... Но если послушать ее, во мне преобладает христианская сторона. «Я не хочу губить тебя», — твердила она. Я возражал, напоминая ей нашу ночь в Мальтаверне. Почему, вопрошали мы себя, она больше не повторилась? Почему чуть не каждый вечер я униженно возвращался на улицу Эглиз-Сен-Серен, хотя,

[33] Примечания: 33

Кибела — в древнегреческой мифологии Великая мать богов, дарительница плодородия земли.

расставаясь накануне, мы в полном согласии решали, что это в последний раз? Почему эти повторные падения так мало походили на тот наш сон в летнюю ночь, когда все счастье мира открылось мне в одно мгновение, словно наши души обрели на этот вечер, на один-единственный вечер, право соединиться в тот же миг, что и наши тела? И вот я снова обречен на отвращение. Кто вдохнул в меня это отвращение?

«Чего ты добиваешься?» — как сказала бы бедная мама. Мари не походила ни на какую другую женщину, может быть, потому, что была когда-то верующей девочкой. И в этом тоже не было лжи: ее мука бесконечно превосходила мою. Эта мука старила ее, вернее, выдавала ее настоящий возраст, тогда как я, по ее словам, сохранял свой ангельский вид, «даже крылышки не измялись», говорила она с насмешкой и тоской.

На улице Шеврюс мама, поджидая меня, бродила по комнатам с трагическим выражением лица для особо серьезных случаев. Я сколько мог тянул время под предлогом занятий в городской библиотеке. Наконец она потребовала, чтобы я хотя бы назначил дату нашего отъезда. Я отказался называть какую бы то ни было дату. По прошествии недели она уже ни о чем не спрашивала, и

было ясно, что больше она себя дурачить не даст. Она знала, откуда я возвращаюсь каждый вечер, и знала, что я это знаю. Она обнимала меня лишь затем, чтобы обнюхать, но она была слепа и не видела того, что преисполнило бы ее радостью, пойми она это: она считала, что я запутался в паутине, и это действительно было так, вернее, паутина опутывала мое тело в часы ожидания, а потом — еще несколько минут. Но о том, что ни Мари, ни я больше не помышляли соединиться навек, моя мать и не догадывалась: из моего временного порабощения она делала вывод, что я порабощен навсегда.

Вечером, после ужина, я уходил из дому, сытый и усталый. Мама знала: на этот раз я выхожу не затем, чтобы творить зло, — я всегда предлагал ей прогуляться вместе. Она отказывалась, но была спокойна. Иногда я возвращался через час, иногда попозже, если слушал музыку на площади Кенконс, где летом устраивались открытые концерты. Но чаще всего я довольствовался мороженым в кафе на площади Комеди или, невзирая на москитов, бродил по аллеям Ботанического сада, подальше от толпы, окружившей духовой оркестр 57-го полка.

Я был уверен, что теперь, в конце августа, ни-

кого здесь не встречу. Но в тот вечер на скамье в дальнем углу площадки сада сидел какой-то молодой человек и курил трубку. Я устроился на другом конце скамьи, не глядя в его сторону. Он насмешливо спросил:

— Август, а ты в Бордо? Почему не в Аркашоне, или Понтейяке, или Люшоне?

Я узнал студента последнего курса по фамилии Келлер, одного из тех христиан, которые «идут в народ», «сеятеля», одного из тех молодых людей, которых я раздражал еще прежде, чем раскрывал рот.

— Должно быть, потому, — сказал я вызывающим тоном, — что здесь у меня есть занятия повеселее.

Он проворчал:

— Чего же еще от тебя ждать?

Когда мы с ним познакомились на факультете два года назад, этот апостол, прельстившись мной, пустился проповедовать. Но тогда книга Барреса «Под взглядом варваров» давала мне ответ на все, снабжала меня формулами для защиты от коллег «с язвительным, раскатистым смехом». От всех прочих я отгораживался «гладкой поверхностью». Я не преминул воспользоваться этим оружием и против Келлера, который вскоре

определил меня как одно из самых презренных существ в мире — обеспеченный крупный буржуа

— А что ты знаешь обо мне? — возразил я. — Только то, что я сам позволил увидеть, чтобы ты оставил меня в покое и все это кончилось. С таким же успехом я мог представить номер в твоем вкусе, в жанре «возвышенной души».

— Что же скрывается под каждой из этих масок? Полагаю, нечто не слишком привлекательное...

— Но я ведь не прошу тебя смотреть!

Мой тон, очевидно, поразил этого христианина, и он поспешно сказал:

— Прости, пожалуйста. Признаюсь, я не имел права относиться к этому так свысока. Все мы одинаково несчастны.

— Да, Келлер, но есть разница между таким несчастным, как я, избалованным, пресыщенным, думающим только о себе, и таким несчастным, как ты, алчущим и жаждущим справедливости.

— О! Но ты знаешь, несмотря ни на что, я ищу радости... Мы должны снова увидеться, — продолжал он с воодушевлением, — я не буду читать тебе проповеди.

Я почувствовал желание рассказать обо всем,

довериться ему. Я задыхался. Я сказал:

— Охотно, но я сейчас переживаю тяжелое время. Бог покинул меня.

Он взял меня за руку и ненадолго задержал ее в своей.

— «Когда думаете вы, что далеки от меня, тогда я ближе всего к вам». Знаешь эти слова из «Подражания»?

— Но дело не просто в холодности, в черствости, я творю зло.

— Ты творишь зло?

— Да, и та, с кем я творю его, не меньше меня желает, чтобы мы отказались от зла... Но каждый день наступает час, когда это не зависит ни от нее, ни от меня...

— Да, я понимаю, — сказал Келлер проникновенно. — Я буду молиться за тебя. Я близко знаком с настоятельницей монастыря визитандинок.

— О нет, — возразил я. — Не стоит труда. Это такие пустяки, меньше, чем пустяки...

— Ты называешь это пустяками?

Я встал, я снова заговорил тем тоном, который в свое время приводил Келлера в отчаяние.

— Да, я исполнен смирения, в смирении я не знаю себе равных, я полагаю, что ни один мой поступок не имеет ни малейшего значения.

— И однако же, от малейшего нашего поступка зависит наше вечное спасение. Ты в это не веришь?

— Нет, верю... Но от этого поступка не больше, чем от другого. Худшее во мне, Келлер, — это, видишь ли, не мои дела, это даже не мои мысли. Худшее во мне — равнодушие, отсутствие той страсти, которой одержим и ты, христианин, и все молодые воители — социалисты, анархисты... Худшее во мне то, что я равнодушен к страданиям других и охотно мирюсь со своим привилегированным положением...

— Ты — буржуа, крупный буржуа, его нужно убить в тебе. Мы убьем его, вот увидишь.

— У буржуазии крепкий хребет. Я родом из тех крестьян, жителей ланд, которые заставляют стариков родителей работать, пока те не подохнут, а если берут в прислуги какую-нибудь маленькую девчушку — «девку», как они выражаются, — то выдерживает она только потому, что этот возраст все стерпит...

Я замолчал, устыдившись, что доверился этой случайно встретившейся мне возвышенной душе, и встал.

— Прощай, Келлер. Не ходи за мной. Забудь все, что я сказал. Забудь обо мне.

— Неужели ты думаешь, что я о тебе забуду? Мы увидимся, когда начнутся занятия? Обещай мне...

Бедный Келлер! Он будет молиться, страдать за меня, заставит молиться и страдать святых сестер. Какое безумие! И однако же, ничто на свете не волнует меня сильнее, чем это общение святых душ, их взаимодействие: мое раздражение против Келлера было вызвано тем, что он коснулся самых сокровенных моих тайн, но я не сомневался в его власти воздействовать на мои дела и направить их по другому руслу. Нет, я не думаю, что происшедшие на следующий день события были связаны с этой встречей в Ботаническом саду. Все, что случилось, было в порядке вещей и даже неизбежно: мама не могла больше терпеть эту неопределенность и тревогу, время шло, пора было ей вмешаться.

На следующее утро, едва открыв глаза, я уже знал, что в обычный час мне не придется звонить у дома на улице Эглиз-Сен-Серен, что Мари будет ждать меня за дверью. Дождя не было, но где-то он, должно быть, прошел, дышалось, во всяком случае, легче. Я мог весь день, словно заблудившийся пес, трусить рысцой по набережным. Я дошел до самых доков. Обратно приехал

в трамвае, стоя на задней площадке, зажатый в толпе докеров. Я побродил еще немного. Все, что я делал до ожидаемой минуты, значения не имело. В половине седьмого Мари за дверью не оказалось, я позвонил, но тщетно. Должно быть, ее задержали. Я решил прогуляться по улицам, ждать тут было невмоготу. Минут на десять я погрузился в темные недра церкви Сен-Серен, самой мрачной во всем городе, потом вернулся к дому Мари. И тут я увидел, что она переходит улицу. Она была бледна и задыхалась. Она достала ключ из кармана:

— Входи скорее.

Она втолкнула меня в гостиную с закрытыми ставнями. Не успев даже снять шляпку, она сказала:

— Сейчас я видела твою мать.

— Где ты ее видела? Ты говорила с ней?

— Да, представь себе! Я показывала книгу покупателю. Вдруг мне стало не по себе от пристального взгляда дамы в черном, довольно полной и с виду очень важной, которая вошла в лавку. Я сразу почувствовала, что это не покупательница, что интересую ее только я, и вдруг я увидела тебя, да, тебя, Ален, передо мной возник твой ангельский лик, отделившийся от этого

крупного властного лица Агриппины или Гофолии[34]. Я узнала твою мать, такой я и рисовала ее себе. Пожирать глазами — оказывается, это бывает буквально так! Мало сказать: «пожирала» глазами — она рвала меня на куски. Мне казалось, я знаю, что значит быть чьим-нибудь врагом. Нет, чувствовать к себе ненависть, настоящую ненависть приходится гораздо реже, чем кажется: как будто вас убивают медленной смертью, чтобы сильнее насладиться этим, если возможно, — теперь я знаю, как выглядит ненависть.

Может быть, надо было дать ей уйти? Что бы сделал ты, Ален? Я уступила своему первому побуждению, в сущности, пожалуй, любопытству. Я обратилась к ней, спросив самым деловым тоном: «Что вам угодно, мадам?» Она несколько опешила. Потом заявила, что зашла лишь взглянуть на новинки. «Да, — сказала я, — а быть может, и на меня?» Представь себе ее лицо в этот момент. «Вы знаете, кто я?» — «Я знаю о вас все, мадам». Она побледнела как смерть, она прошептала: «Он говорит с вами обо мне? Теперь меня уже

---

[34] Примечания: 34

Агриппина (15 — 59) — римская императрица, отличавшаяся беспринципностью и крайним аморализмом.

Гофолия — жена иудейского царя Иорама, которая ввела в Иудейском царстве поклонение Ваалу. Силой присвоила себе престол, истребив почти весь род Давида.

ничто не сможет удивить!» Я возразила: «О, я все о вас знаю не потому, что он рассказывает мне о вас, а потому, что на нем лежит ваша печать, вы сами вылепили его, он — дело ваших рук, даже когда он ускользает от вас; я знаю о вас все в той мере, в какой я знаю все о нем». Она сказала: «Все это слова...» — тем тоном, каким, должно быть, говорила тебе раньше «пустомеля». «Невозможно разговаривать в этой лавке...» — проворчала она. «Тут есть подсобное помещение, мадам. Если вы считаете для себя возможным пройти туда...» Она согласилась. Я попросила Балежа заняться на несколько минут покупателями и ввела твою мать в закуток.

— Мама — в закутке!

— Да, представь себе, в этом шкафу мы оказались, как ты любишь выражаться, нос к носу. Первые обращенные ко мне слова не соответствовали ее бешенству; очевидно, она их подготовила заранее, с холодной головой, и, мне кажется, по мере того как она их выкладывала, она сама успокаивалась и постепенно применялась к их звучанию. Она заверила меня, что воздерживалась от всякого суждения обо мне, более того, она заинтересована в том, чтобы все хорошее, что ты говорил ей обо мне, было правдой, и хотела бы

этому верить. «Но, мадемуазель, если вы действительно столь избранное существо, каким он вас изобразил (помимо ее воли презрение шипело змеей в этих словах), то невозможно, чтобы, любя Алена так, как, по вашим словам, вы его любите, вы не понимали, что ничего не может быть хуже для двадцатидвухлетнего мальчика, которому в известном отношении не больше пятнадцати...» — «Ему было пятнадцать, мадам, до того, как он со мной встретился». Она отлично поняла, о чем я говорю, стиснула челюсти, но сдержалась и продолжала: «Ничего не может быть хуже, чем женитьба на женщине, которая настолько старше его, и, простите, если я обижаю вас, но что поделаешь, на женщине с прошлым...» — «Да, — сказала я, — и с настоящим, и, почему бы и не сказать, с будущим!» Я дразнила ее из холодного расчета, чтобы она вышла из себя. Но она продолжала: «Не думаете ли вы, мадемуазель, что найдется на свете мать, которую не огорчила бы подобная женитьба? Я уж не напоминаю вам о том, что делает в буквальном смысле слова немыслимым союз между двумя нашими семьями...» — «Разумеется, мадам... прежде всего я не принадлежу к тому, что называется хорошей семьей. А Ален, он — молодой Гажак, типичный

молодой человек из хорошей семьи...»

Я с раздражением прервал Мари:

— Ты высмеивала меня перед моей матерью! Тебе хотелось блеснуть, взять над ней верх, раздавить ее, и ты воспользовалась мною.

— Что ж, — сказала она, — не стану скрывать, я испытала острое наслаждение, сводя эти счеты, я позволила себе удовольствие дерзить вовсю. Высшей дерзостью было бы сказать ей то, что вертелось у меня на языке: «Ваш сын просил моей руки, но успокойтесь, и речи быть не может, чтобы я согласилась: я люблю Алена, а не его богатство, которое вызывает у меня ужас, не его среду, которая мне отвратительна...» Я могла бы даже признать, что разница в возрасте может быть угрозой нашему счастью, и для меня в большей степени, чем для тебя. Да... Но, Ален, это значило бы выдать ей секрет, снять с нее огромную тяжесть, она сразу снова стала бы хозяйкой твоей жизни, а ты лишился бы обменной монеты, которой я тебя снабдила: ведь твоя мать готова согласиться на все, лишь бы я исчезла. Значит, надо было продолжать игру, и я сыграла ее до конца. Сначала я с ней не спорила, я дала себе труд вникнуть в ее доводы. Я признала, что с точки зрения социальной и даже с любой точки

зрения я отнюдь не являюсь той супругой, о какой мечтает мать единственного сына, да еще такого богатого, как ты... Разве лишь, добавила я, с одной целью — избавить его от худшего зла...

— О! — возмутился я. — Надеюсь, ты не бросила ей в лицо обвинение в страсти к земле, не упомянула о Нума Серисе, Вошке?

— Нет, я ничего не бросала ей в лицо, я все ей преподнесла весьма любезно — так, чтобы она не ушла, хлопнув дверью. Я вменила себе в заслугу, что теперь почти все связывавшие тебя путы порваны, но призналась, что освободила тебя еще не до конца; я объяснила, как нетрудно было бы доказать тебе, что не требуется никакого колдовства, чтобы наблюдать за тем, как растут сосны, которые растут сами по себе, чтобы заставлять фермеров собирать смолу и класть себе в карман денежки. Вместо того чтобы гноить деревья, которые давно уже следовало вырубить и к вящей выгоде заменить новыми, я научила бы тебя проводить регулярные вырубки и обеспечила бы тебе огромный годовой доход, из которого сейчас вашим фермерам ничего не достается... Но мы, сказала я, все эти порядки переменим — выручку за проданный лес мы будем делить с фермерами. Так мы решили, Ален и я...

— Но это неправда, — воскликнул я, — не могла ты ей сказать такую ложь!

— А вот и сказала! Доставила себе такое удовольствие.

О, этот недобрый голос Мари, я не раз его слышал, когда на мгновение прорывалась горечь, накопившаяся в ней за годы ее печальной юности, но только встреча с моей матерью разрушила все плотины, и хлынул этот поток, окативший заодно и меня. Я вдруг оказался на стороне своей матери. Я понял это по вырвавшемуся у меня крику:

— Да во что ты вмешиваешься!

— А! — крикнула она в исступлении. — Вот оно что! Это почище, чем «кто тебе сказал?» Гермионы[35]! Что же так возмутило тебя: оскорбление, нанесенное матери, или, может быть, идея разделить с фермерами деньги за вырубку сосен? Так, значит, из-за того, что я хотела отнять у тебя эту кость, ты показал вдруг клыки! О, ты истинный сын своей матери! Беги, утешь ее!

Я пробормотал:

— Мари, дорогая...

Я хотел обнять ее, но она меня оттолкнула: она

---

[35] Примечания: 35

Гремиона — действующее лицо поздней пьесы У. Шекспира «Зимняя буря».

была вне себя.

— А вот чего ты, боюсь, никогда не сумеешь — это вести себя с женщиной как мужчина: этому научить нельзя.

Сначала я даже не почувствовал удара и стоял неподвижно, опустив руки. Должно быть, она увидела мое перевернутое лицо и мигом отрезвела. Она простонала:

— Ален, малыш мой...

Но теперь настала моя очередь оттолкнуть ее, и я изо всех сил хлопнул входной дверью.

ГЛАВА XI

Льет дождь на дубы Шикана. От неумолчного шороха капель уединение этого затерянного в ландах уголка кажется еще более полным. У меня есть убежище — крохотная столовая, сложенная из сосновых бревен и крытая сухим папоротником, она сливается с хижиной и не отпугивает вяхирей. В комнатке камин, когда-то в нем жарили для Лорана жаворонков, которых он отстреливал в полях Жуано; он не любил охоту на вяхирей: ведь она вынуждает охотника сидеть неподвижно. Вот уже четыре года, как он лежит не шевелясь, бедный мальчуган, не шевелясь лежит то, что от него осталось. То, что осталось от этого молодого, полного жизни существа... Ничто ни к чему не приводит в этом мире. Но очевидность этой истины бессильна против тоски, порожденной определенным событием — несчастьем, уже свершившимся, непоправимым, которое мне придется нести те шестьдесят лет, что я еще отпустил себе для жизни. Попытаюсь победить эту тоску, продолжая в своей тетради нашу историю с того места, где я ее прервал,

переживая ее снова, минуту за минутой, до последнего сразившего меня удара.

Итак, дверь Мари захлопнулась за мной: все кончено, на этот раз все кончено бесповоротно. «Ален, малыш мой!» Ее последний призыв взбесил меня, вместо того, чтобы растрогать. Нет, я не «твой малыш». Как ты ни стара, ты все же не могла бы быть моей матерью. Я спускаюсь по улице Эглиз-Сен-Серен, я бегу к маме — кто знает, быть может, она при смерти. Она иногда жалуется на сердце, она часто говорит: «У нас в семье умирают от сердца». Луи Ларп, поджидавший меня на площадке, предупредил, что у мадам мигрень и обедать она не будет. Я, не стучась, захожу к ней в комнату. Она лежит, но не в темноте, как бывает в самые тяжелые дни. Лампа у ее изголовья зажжена. Она очень бледна, улыбается мне и как будто спокойна. Я стараюсь не выдать себя, но неужели она не заметит, что я потрясен? Она привлекает меня к себе, и я разражаюсь рыданиями, словно в былые времена, когда я получал прощение после вспышки гнева и она говорила: «Ты умеешь раскаиваться».

— Что с тобой, дорогой мой?

— Я знаю, тебе причинили боль.

— Ах, ты знаешь? Да, боль... но также и об-

легчение. Не все ли равно, что думает о нас эта несчастная девушка? Главное, что в душе своей — надо отдать ей справедливость — она понимает, какое непреодолимое расстояние лежит между нею и тобой, теперь я спокойна...

— Она сказала тебе, что отказалась?..

— О! Не окончательно, но я поняла: она решила сыграть благородную роль. Она не желает твоих денег, твоих земель, твоей буржуазной среды. Это она тебе отказывает, понимаешь? (Мама рассмеялась, настолько это казалось ей нелепым.) Что ж, я вполне довольна!

Значит, все произошло не так, как рассказала мне Мари. Она изобразила передо мной наполовину вымышленную сцену. Для чего? Чтобы отомстить за то, что потерпела поражение? А она, конечно, потерпела его, раз к маме вернулось спокойствие.

— Да, я успокоилась. О, не столько из-за ее выпада против всего, что мы для нее олицетворяем, но и оттого, бедный дружок мой, что я увидела ее. Я признаю, — добавила она тут же, — у нее прекрасные глаза. Этого у нее не отнимешь. Но выглядит она много старше своего возраста: это женщина, которая трудится, ведь так?

— Да, — сказал я, — и которая много страдала.

— О! Такие страдания...

Мама благоразумно проглотила последние слова. Помолчав, я спросил:

— Вы говорили о Мальтаверне?

— Нет, разумеется! На это у нее не хватило наглости, если не считать ее тирады против земельной собственности и крупных собственников.

— Ручаюсь, она возмущалась тем, что мы не делимся с фермерами доходами от вырубки леса?

Я спросил это самым безразличным тоном. Слегка отодвинувшись, я разглядывал освещенное лампой крупное бледное лицо, на котором не выражалось ничего, кроме изумления:

— Чего ты добиваешься? Представляешь себе, как бы я отчитала ее, если бы она посмела... Но ты не ужинал, мой бедный малыш. Сегодня у нас заливной цыпленок. Иди, не беспокойся обо мне, я довольна.

Я был голоден и поел с аппетитом под одобрительным взглядом Луи Ларпа. Я еще не страдал. Может быть, я и не буду страдать? Я считался болезненно-чувствительным ребенком, а потом — подростком и сам этому верил. Но только я один знал, каким чудовищем равнодушия могу я внезапно обернуться, и не только по отноше-

нию к другим, но и по отношению к самому себе. Почему Мари обрушилась именно на меня? Почему она решила выместить на мне обиду за то, что мама взяла над ней верх, как брала верх над фермерами, слугами, арендаторами, поставщиками, Нума Серисом и, более чем над всеми, над своим несчастным сыном? Быть может, Мари внезапно возненавидела во мне все, что раньше особенно любила: мою слабость, мою неизлечимую инфантильность. «Чего я добиваюсь?» Она решительно вырвалась из своего последнего сна о счастье, которое воплощалось для нее во мне... А я? А я? Растянувшись за кисейным пологом, я прислушивался к зудению москитов, круживших вокруг меня с ожесточением диких зверей. Я и не подозревал, что появление самого опасного зверя еще впереди. Я все твердил: а я? Я стиснул зубы. Нет, я не так чувствителен, как все они считают, и даже не так слаб.

Через два дня мы отправились в Мальтаверн. Накануне я ездил попрощаться с Симоном. Я назначил встречу у него в Талансе, там мы могли беседовать без помех. Мне не удалось уговорить его поехать со мной хотя бы на несколько дней. Он отказывался не только из-за мадам — больше всего его пугали Дюпоры. Симон успокоился,

смягчился; имя господина Муро не сходило у него с языка. Он отдал себя в руки господина Муро. Я признался, что совершенно не способен на такое полное, по Паскалю, подчинение своему духовному руководителю. Последний год работы в лицее теперь уже не страшил Симона. Это будет время «сосредоточенности», как он говорил. Потом он поступит в семинарию в Иси: «К тому времени вы будете в Париже, мы с вами увидимся». Для него не было никакого сомнения в том, что я поеду в Париж и по-прежнему буду осыпан и обременен всем тем, что ему дано познать только через меня и во мне. Я пошутил, что таким образом он будет познавать мир при моем посредстве и, пока я буду губить себя, он заработает себе спасение. Он произнес вполголоса: «Наше спасение, спасение нас обоих».

Я не знал, что он тоже нанесет мне удар. Я считал его безобидным, не способным причинить мне ни добро, ни зло, да, самым безобидным существом. Мы еще не обменялись ни единым словом о Мари, и я чувствовал, что за этим молчанием что-то кроется. Я привык вечно слышать от своей подозрительной и проницательной мамы: «Ты от меня что-то скрываешь». Я сам перенял у нее эту склонность доискиваться, что скрывают от меня

другие. Прощаясь, я спросил у Симона, знает ли он все обо мне и Мари? Да, он видел ее вчера. Я пожалел, что произнес это имя. Я чувствовал, что ему не хватит такта, этому крестьянину. Такта ему не хватило, он сказал:

— Знаете, ей словно больной зуб вырвали... — И добавил: — Это лучше для вас обоих. Ведь, как бы там ни было, она никогда не верила... Вы подозревали, что она мечтает о браке. В ее-то положении — да нет, что вы! Такая умница, как она, пожалуй, могла бы подвести вас к этому, но она прекрасно понимала, какой это будет ад. Она не сумасшедшая. Но, только если бы эта история слишком затянулась, она могла испортить кое-что другое, а это для нее дело решенное. Правда, старик Бард не так уж строго на все смотрит...

— А какое дело Барду до личной жизни Мари?

— Вот тебе на! Разумеется, в этом смысле между ними ничего нет, да никогда и не будет. Старику Барду семьдесят лет. В сущности, Мари выходит замуж за книжную лавку. Он и так превратился только в счетовода, а душой дела стала она. Книжная лавка, знаете ли, для нее все. Клянусь вам, она предпочитает ее Мальтаверну. Послушали бы вы, как она вспоминала о крапиве на берегу Юра, о мухах, о езде в двуколке на одолеваемой слепня-

ми кляче, об ожидании на Низанском вокзале...

— Если мог кто-нибудь понять Мальтаверн, его истекающие смолой сосны, эту скорбную бесплодную землю, то именно Мари...

— Э, нет, господин Ален, надо там родиться и чтобы наши деды и прадеды родились там. Только мы с вами... Она городская, она и жизнь-то проводит не на улице, не на вольном воздухе, а в Пассаже.

— И вы думаете, будто Бард и она...

— О, не раньше Нового года, скорее, к середине января...

— Значит, я был последней передышкой, которую она себе позволила... Все-таки это ужасно.

— Да нет же, ведь ничего такого не произойдет, ничего и не может произойти, просто они устроят свою жизнь...

— Да и что тут такого! — воскликнул я. — Она привыкла к старикам.

— Это нехорошо, господин Ален, это нехорошо!

— Какой ужас — старики, которые стремятся приблизиться к молодым, какая мерзость! А старые писатели еще смеют говорить об этом в своих книгах, и не стыдно им? Подумать только, она была обречена на это! Правда, у нее был я. Но так оно бывает всегда. Когда Балеж уйдет на

покой, она сможет нанять себе двадцатилетнего приказчика.

— Нет, господин Ален, она вас любила, она вас любит.

— Что ж, полюбит и двадцатилетнего приказчика, а потом они убьют Барда и поженятся. Что и говорить, все это вполне в духе Золя, эта книжная лавка в Пассаже.

— О! Господин Ален, что вы! Это нехорошо...

— И в ней тоже есть что-то от Золя — то, что я всегда ненавидел. Что может понять в Мальтаверне Тереза Ракен[36]? А все-таки она его полюбила, знаете, она любила его в вечер вашего приезда, и потом ночью, и еще на рассвете, до того, как отверзлась эта раскаленная печь, и сосны, казалось, протягивали к нам ветви, благословляя ее и меня... Но нет, они благословляли только меня, они знали только меня, у нее с ними не было ничего общего.

И вдруг меня охватила ярость:

— Да, конечно же, она создана для Барда! В конце концов, она ненамного его моложе!

— О, господин Ален!

---

[36] Примечания: 36

«Тереза Ракен» — роман французского писателя Э. Золя (1840 — 1902), главная героиня которого — молодая хозяйка галантерейной лавки в Париже.

— Как только для женщины кончилась первая молодость, она уже переходит в другой стан, в стан Барда.

Я не знал, что скорбь может довести меня до бешенства.

— И подумать только, — закричал я, — что все эти священники скулят втихомолку и жалуются на безбрачие, тогда как лучшее в их существовании то, что они избавлены от этого скотства. Даже у скотины это не так грязно!

— О, господин Ален, как сказала бы мадам, вы заговариваетесь. Плоть священна, вы это знаете.

Я разрыдался:

— Да, я это знаю.

Симон не имел ни малейшего представления, что нужно делать и говорить, когда такой господин, как господин Ален, рыдает перед ним. С самого детства он никогда не плакал — ни перед другими, ни даже в одиночестве. Слезы тоже были одной из моих привилегий.

Я быстро пришел в себя, вытер глаза, извинился: просто меня поразил этот брак со стариком. Но я уже начинаю привыкать к этой мысли. Так, значит, замуж она выходит за книжную лавку, чего же лучше? Все прекрасно... Я сел в автомобиль. С Симоном мы увидимся, когда начнутся занятия.

Едва «дион» отъехал, я снова начал страдать. Это страдание совсем не походило на то, что я обычно именовал страданием. Оно причиняло физическую боль, было физически невыносимым. Мари знала, она это всегда знала, она взяла себе для забавы желторотого птенца, прежде чем связать себя навсегда. Когда она станет госпожой Бард, ей придется вести себя осторожно. Как справиться с этой болью? Долго я так не выдержу. Если бы мне не надо было завтра уезжать в Мальтаверн, я разыскал бы Келлера, он отвел бы меня в свое братство — может быть, я там встретил бы кого-нибудь. Он сказал: «"Братство сеятелей" — это дружба». Люди любят друг друга, это любовь, тут нет никакого скотства.

На следующий день мы уже были в Мальтаверне. Я и слышать не хотел ни о Люшоне, ни о том, чтобы поселиться где-нибудь в гостинице. Мама видела, что я страдаю, но считала, что через несколько дней это пройдет. Операция сделана, и сейчас наступил, как всегда, тяжелый послеоперационный период. А сама она была спокойной и нежной, какой я не видел ее уже много лет, умиротворенной, как человек, избежавший смертельной опасности. Она и не подозревала, что была буквально на шаг от величайшего несча-

стья, никогда не была она к нему ближе, чем в тяжкие часы между краткими просветлениями, еще дарованными мне судьбой. Эти строки я пишу только для себя, их не прочтет даже Донзак, потому что самое постыдное, самое презренное — это сделать вид, что хочешь умереть, и не умирать. Неудавшееся самоубийство всегда вызывает подозрение, но оказаться неспособным даже на неудачу! Лучше уж не давать повода для насмешек.

Итак, что же оберегало меня все это время — после встречи с Симоном накануне отъезда в Мальтаверн и до сегодняшнего дня — от безумного желания заснуть навеки, от этого «стремления-не-жить»? Я не знаю, что известно об этом недуге врачам, но хорошо знаю, что испытывает несчастный, в чьем роду и прадед и брат прадеда утопились в лагуне Тешуэйра. Пастухи называют этот недуг «пелагрой» и говорят, что всех, кто им страдает, тянет в воду.

Я думаю, что эта болезнь, подобно всем прочим болезням, у нас в крови, она порождена тоской, отпущенной нам в смертельных дозах, она составляет самую сердцевину нашего существа, она появляется на свет вместе с нами и звучит уже в первом нашем младенческом крике.

В течение последних недель, которые я прожил рядом с мамой, смягчившейся и просветленной, прощавшей мне все, готовой во вред себе кормить меня раками и грибами, я пришел к заключению, что от смерти меня уберегла только моя неумелость. «Ничего-то ты не умеешь делать собственными руками, — не раз с презрением говорила мне мама, — ты не способен даже стать грузчиком!» Да, и даже убить себя. Лагуна Тешуэйра сейчас совсем обмелела. А яд... разве можно купить его у аптекаря без рецепта? Я слишком труслив, чтобы решиться принять смерть, как Анна Каренина, под колесами поезда, слишком труслив, чтобы броситься вниз с высоты, слишком труслив, чтобы нажать гашетку.

Самое странное, что единственная моя опора — вера в вечную жизнь — не имела тогда для меня ни малейшего значения. За дефинициями малого катехизиса и запретами казуистов мне слышался издевательский хохот: эти болваны приравнивают к убийству акт добровольного ухода из жизни... Прежде всего не такой уж он добровольный, поскольку его необходимость заложена в нас так же, как все, что убивает нас изо дня в день, от рождения до самой смерти. В этот мой приезд земля Мальтаверна стала для

меня именно тем, чем она была, — угрюмыми бесплодными ландами, которые рано или поздно выгорят дотла. Преображал ее мой собственный взгляд, магия моего взгляда. Так же как и Мари. Земля Мальтаверна и Мари навсегда остались такими, какие есть. Я потерял над ними власть преображения. Только бы Мари не подумала, что я хотел умереть из-за нее.

Я пытаюсь молиться, но слова лишаются всякого смысла, когда я произношу их, и это прибежище, где я так часто спасался и где, как я считал, можно погрузиться в созерцание, оборачивается зияющим провалом в пустоту, в ничто.

Но, повторяю, бывают дни облегчения. Неожиданно я снова обретаю вкус к жизни. Я знаю, это ненадолго, болезнь вернется, но я пользуюсь временем, отпущенным мне для передышки. Глубокой ночью я встаю и выхожу босиком на балкон, где мы с Мари стояли, опершись на перила. И мои глаза видят все это еще раз, да, все это было — небо с угасающими звездами, вознесенные к небу вершины сосен, и мои глаза, смотревшие на них, и сжимавшееся от отчаяния сердце. Это было, я лгал, утверждая, что ничего не было, и, если я потерял ключ от этого бессмысленного мира, это еще не значит, что ключа нет.

Часы облегчения приходили все чаще, пока не произошел случай, о котором я сейчас расскажу. Я и правда думал, что это только случай, а это был тот поворотный пункт, где судьба подстерегала меня и схватила за горло, словно все мои мысли о самоубийстве были предвестием беды, готовой обрушиться на всех нас.

Хотя в сентябре никто уже не купается возле мельницы господина Лапейра — вода там холодна как лед, — но в этот день было так тепло, что я на всякий случай захватил с собой купальный костюм. Без сомнения, меня не покидала мысль о возможности покончить все разом в этот день: ведь я, наверное, буду там один. Меня страшил конец Анны Карениной, но не конец Офелии — скорее всего, я втайне знал, что инстинктивно начну делать движения, которые не дадут мне утонуть. У меня мелькали какие-то неясные мысли о возможности несчастного случая. Я представлял себе горе матери, горе Мари. Будут говорить то, что говорят в таких случаях: предполагать судорогу, кровоизлияние. Свидетелей не будет.

Спускаясь по песчаной дороге к мельнице, я с досадой увидел, что в пруду плещется какой-то одинокий купальщик. Вода слишком холодна,

долго он там не пробудет. Я решил подождать, пока он освободит мне место, и скользнул в гущу папоротника, откуда мог наблюдать за ним, сам оставаясь незамеченным. Есть особое удовольствие — обычно в нем не признаются, но я признаюсь — смотреть на того, кто нас не видит, даже не знает, что мы здесь, и думает, что он один. Поистине удовольствие, доступное только богу. Очень скоро я заметил, что мой купальщик был купальщицей — правда, такой тоненькой и длинноногой, что легко было ошибиться. Но, пожалуй, уже не маленькой девочкой. У девочек не поймешь — девочки никогда не бывают детьми, детство им заказано. Эта, очевидно, была еще девчушкой, она купалась в мальчишечьем купальнике. Девица из местечка никогда бы себе этого не позволила. Она вышла из воды, уселась на берегу на солнышке, чтобы обсохнуть, огляделась вокруг. Был полдень — тишина и безлюдье. Она проворно спустила бретельки купальника, невинно обнажив худенькие плечики и едва наметившуюся грудь. То, что я почувствовал, совсем не похоже на то, что может подумать Донзак, — не сладострастие фавна. Нет, маленькие девочки еще не вызывают у меня дурных мыслей. Мне показалось, будто кулак, сжимавший мое горло,

внезапно разжался (если бы я только знал!), будто кто-то убрал ладони, закрывавшие мои незрячие глаза, и я вдруг прозрел. Уже одно это создание было чудом, а в мире таких миллионы — в том мире, которого я не знал и в который, впрочем, ничто и никто не заставит меня вступить, если я предпочту сидеть в своей комнате, где одни только книги и нет ни одного человека.

Поднявшись, девочка долго стояла под лучами солнца, и так далеки были от меня нечистые мысли, что, глядя на нее — пусть это важно только для меня одного, — я, как всегда при виде прекрасного юного тела, ощутил со всей несомненностью, что бог есть. Бог существует, вы видите сами. И тот же голос, который кричал мне в ухо: «Все перед тобой, все тебе дано, убивай и ешь...» — тот же голос шептал: «Но ты можешь выбирать: и отказаться от всего, и искать меня, и в этом единственный выход».

Девчушка исчезла в зарослях папоротника и скоро появилась снова, в коротенькой юбчонке, не слишком красивая, насколько я мог судить издали: круглая гребенка туго стягивала ее волосы, и лоб казался слишком высоким.

Но я видел ее без платья и знал, что она прекрасна — не красотой, запечатленной в уже

сложившихся чертах, а той, что таится в изменчивых линиях, складывающихся в пору созревания. Я подглядел мгновение между зарей и рассветом, или, вернее, между рассветом и утром, — чудо, которое продлится недолго и по-настоящему еще не началось.

Я дал ей уйти и пошел следом, держась чуть поодаль. Она шагала, то чинная и серьезная, как взрослая девушка, потом, вдруг подпрыгнув, как козленок, ныряла в чащу папоротника, наклонялась, что-то там собирала и снова шагала дальше. Неожиданно сухая ветка хрустнула у меня под ногой. Она обернулась, поднесла ручонку к глазам, чтобы рассмотреть, кто это идет за ней, и вдруг — может быть, она узнала меня? — бросилась бежать со всех ног и исчезла за поворотом тропинки. Когда я подошел к повороту, ее уже и след простыл — должно быть, скрылась в лесу.

ГЛАВА XII

Возвращаясь с мельницы, весь поглощенный мыслями о вспугнутой купальщице, я издали увидел, что мама поджидает меня на крыльце. Она крикнула, что мне пришла телеграмма, и, когда я подошел, протянула ее мне, уже вскрытую:

— Я ее вскрыла, естественно! Это Симон... хватает же наглости!

Я прочел: «*Необходимо срочно увидеться. Телеграфируйте возможность приехать завтра Таланс*».

— Если хочешь послушать моего совета, потребуй, чтобы он сначала написал, в чем дело.

— Нет, он скромнейший человек. У него, должно быть, есть серьезные причины. Я поеду завтра же утром. Надо только предупредить шофера.

— Разумеется! И автомобиль твой, и шофер твой.

В предрассветном тумане петухи Мальтаверна перекликались с петухами дальних ферм. «Крик, повторяемый тысячью часовых». Я был почти уверен, что вызывает меня Мари и что я застану ее у Симона. Мне это было даже не слиш-

ком любопытно, я твердо решил уклониться от бесполезных объяснений; когда имеешь дело с комедианткой, нет надобности притворяться, будто веришь в реальность создаваемого ею персонажа, даже если она сама в него верит и умеет обмануть себя. Донзак говорит о романах Бурже[37], что это грошовая психология Да, именно такой медной монетой мы расплачиваемся друг с другом. А кроме того, хотя я и обрел сейчас какую-то передышку на своем пути, я был в полном изнеможении, я уже ничего не чувствовал. Сидя один в автомобиле, я смеялся при мысли, что из всех моих претензий к Мари всплыло на поверхность только то, что сказала она Симону о крапиве на берегу Юра, о мухах, о двуколке и о Низанском вокзале, — ее отречение от Мальтаверна, она отреклась от него, неблагодарная, недостойная, идиотка!

Ее не было у Симона, когда я приехал, но она должна была прийти к завтраку. Бард беснуется, сказал Симон, оттого, что Мари бросит на час лавку. Она была в отчаянии, что сама не рассказала мне о своем будущем замужестве, которое

[37] Примечания: 37

Бурже Поль (1852 — 1935) — французский критик и романист, который с консервативных позиций католицизма и монархизма выступал против материалистического направления.

сводилось для нее только к тому, чтобы книжная лавка не попала в чужие руки. По признанию Симона, он слишком сгустил краски, описывая Мари, в какую ярость я впал, когда он без всякой подготовки сообщил мне о ее планах, думая, что мне все уже известно.

— Вы передаете каждое мое слово, — упрекнул я его с раздражением. — Вы способны все испортить. Скромность — это, к сожалению, добродетель, которой научить нельзя.

Он слабо защищался. Вероятно, на его совести было немало подобных грехов.

Мари приехала на трамвае около полудня. То, что должно было вот-вот на меня обрушиться, но чего я тогда даже отдаленно не мог представить, теперь, когда это произошло, мешает мне точно припомнить сбивчивые слова, которыми обменялись мы с Мари в комнате Симона, где он оставил нас одних. К чести Мари, должен сказать, что, увидев мое печальное лицо, она уже не думала больше ни о ком, кроме меня. Таким, видимо, я обладаю даром — пробуждать в женщинах заботливую и восторженную мать. Она нежно сжала мое лицо обеими руками и сказала:

— Мне не нравится твой взгляд.

Я, не затевая спора, выслушал все соображения

Мари по поводу ее брака, словно уже не чувствовал никакого огорчения. Те несколько часов, которые прошли после этого объяснения с Мари, после завтрака в таланском бистро, куда пригласил нас Симон, эти несколько часов кажутся каким-то бесконечно протяженным временем, паузой в моей жизни между двумя мирами. А потом — как будто истинная причина моей тоски внезапно открылась мне — и заметки о банальнейшем происшествии, заметки под портретом в «Жиронде», которую принес мне консьерж на улице Шеврюс вместе с утренним кофе, оказалось достаточно, чтобы в мгновение ока швырнуть меня в бездонную пропасть, куда я продолжаю лететь вниз головой.

Итак, в то утро, отхлебнув несколько глотков кофе, я рассеянно заглянул в газету, и мне показалось, что это галлюцинация — лицо маленькой девочки с зачесанными над слишком высоким лбом волосами, это лицо без улыбки я сразу узнал. Это была девочка с мельницы. И внизу курсивом: «*Жаннетта Серис ушла из дома своего отца господина Нума Сериса позавчера в полдень и не вернулась. Предполагают, что она бежала из дому, у девочки замечалась такая склонность. На ней была полосатая фуфайка, белые сандалии*

на босу ногу. В волосах круглая гребенка». Далее следовал адрес Нума Сериса, номер телефона. Это была Вошка! Прежде чем понять, обдумать и передумать все, что внесла эта история в мою неизбывную тоску, я не мог не усмехнуться: какую злую шутку со мной сыграли! Так, значит, это Вошка купалась возле мельницы господина Лапейра и показалась мне такой прелестной! Это не могло быть случайностью, слишком ловко все было подстроено. Как сказано в писании: «Враг сделал это...» Да, враг открыл мне ее прелесть, но что случилось с ней самой? Мое появление привело ее в ужас, она бросилась бежать, она исчезла, и, может быть, навсегда...

Я был единственным свидетелем. Надо немедленно возвращаться в Мальтаверн. Но в полдень у меня назначено свидание с Мари и Симоном. Я расскажу им все, сделаю так, как они мне посоветуют. Впрочем, скорее всего, это бегство; я не знал, что у нее есть такая склонность: ведь при мне о ней никогда не говорили. Господи, зачем ты посмеялся надо мной?

Я торопливо оделся, вышел, купил еще две бордоские газеты, увидел тот же портрет, то же объявление. Я забежал в Лионский банк и в редакцию газеты «Франс» на улице Порт-Дижо, там

всегда вывешивают последние сообщения: об исчезновении маленькой Серис не было ничего. Я вернулся на улицу Шеврюс. Признаюсь, я дрожал от страха, изнемогал от тревоги. Страха перед чем? Тревоги перед чем? Я был уверен, что надо быть готовым к самому ужасному. Если это ужасное произойдет, что ж, на этот раз я найду силы и способ перейти на ту сторону. Враг не заполучит меня, как бы хорошо он все ни подстроил.

Мне казалось, будто я обеими руками удерживаю петлю, обвившуюся вокруг моей шеи, а она с каждой секундой затягивается все туже и туже. В полдень я уже стоял за дверью и распахнул ее, не дав им позвонить. Не знаю, на кого я был похож. Мари крикнула:

— Ален, что случилось?

Я не мог говорить, я показал им фотографию. Ну и что же? Они ее видели, они даже посмеялись. Девочка убежала... Я возразил:

— Не над чем тут смеяться — это дело моих рук.

— Да ты с ума сошел, Ален!

Тогда я начал рассказывать им всю историю, сам не узнавая своего голоса. Они больше не смеялись. Мари сказала:

— Сейчас мы позавтракаем, и ты отправишься

туда. До вечера ее найдут. Как только приедешь, дашь свои показания.

Я не мог проглотить ни куска, и Мари предложила пойти выпить чашку шоколада у Прево.

— Тебе предстоит только одна неприятность — давать показания...

— И увидеть свое имя во всех газетах, — перебил ее Симон. Мари пристально посмотрела на него, пожала плечами и предложила зайти в книжную лавку — оттуда она позвонит своему постоянному клиенту, заведующему отделом хроники в «Жиронде»: может быть, он меня успокоит.

Лавка была в этот час закрыта, мы вошли через боковой вход. Приятеля Мари в газете не оказалось, но она знала его домашний телефон и довольно быстро дозвонилась к нему. Она протянула мне трубку. Да, есть новости: «Какой-то сборщик смолы видел, как девочка пробежала мимо него, ему показалось, что она чем-то или кем-то напугана или даже спасается от преследования. Этого человека непрерывно допрашивают. Пока он только свидетель, но...» Трубка выпала у меня из рук.

— Ален, ну можно ли так сходить с ума?

— Он не соврал, этот человек, она бежала, потому что испугалась. Это меня она испугалась.

Меня — ведь я видел, как она купается...

— Да, но через пятнадцать минут ты уже был в Мальтаверне и тебе вручили телеграмму Симона. Чего же ты волнуешься?

Симон покачал головой.

— Да вы что, в самом деле думаете, будто не из-за чего портить себе кровь?..

— Да замолчите вы, идиот! — крикнула она в сердцах. — Взгляните только на него. Я хотела просить вас проводить его до Мальтаверна, но пусть уж лучше едет один, чем с вами... Впрочем, нет! Я сама с ним поеду. А вы оставайтесь тут до прихода Балежа. Вы ему все объясните... И если надо, поможете. Я вернусь завтра утром.

— Но что скажет мадам, когда вас увидит?

— Она увидит также своего сына, и ей достаточно будет одного взгляда: она поймет, это вы ничего не понимаете.

Я почувствовал облегчение, я отдал себя в ее руки, ничего плохого не случится со мной, раз она рядом. Я вздохнул свободно. Автомобиль продвигался со скоростью черепахи по запруженной улице Сент-Катрин. Потом мы выехали на Леоньянскую дорогу, и вскоре начались сосны. Мари взяла меня за руку. Она спросила:

— Ты больше не боишься?

Нет, сейчас я не боялся, но я знал, что скоро это опять начнется. Я понимал, что заподозрить меня нельзя, но через десять минут я, возможно, перестану это понимать. Одно мне было ясно — все было против меня

— Даже ты, Мари, если тебя будут допрашивать и ты расскажешь все, что тебе известно, окажешься свидетелем обвинения...

— Успокойся, малыш, ты опять начинаешь все снова...

— Помнишь, утром перед нашим отъездом ты захотела взглянуть на Юр и я повел тебя окольным путем, потому что мы знали, что девочка за нами шпионила? Помнишь, что я сказал о ней? Я сказал тебе: «Я ее задушу!»

— Ты бредишь, Ален. И вообще это не имеет никакого значения.

— И однако же, если тебя будут допрашивать, твой долг вспомнить эти разоблачительные слова.

— Что же они разоблачают, кроме минутного раздражения? Я сама разозлилась, да и каждый на твоем месте...

— Она знала, что я ее ненавижу, раз она так испугалась: достаточно ей было меня увидеть, и она бросилась в лес, где подстерегал ее этот человек.

— Ну, это уже рок, как сказал Шарль Бовари, во всяком случае, не твоя вина.

— Сухой прутик хрустнул у меня под ногой, она обернулась и увидела меня. Я мог поставить ногу рядом с этим прутиком, и она пошла бы дальше по песчаной дороге до Мальтаверна. И в тот день я увидел ее нагой, именно в тот день я открыл, что ошибался в ней, что теперь она так же не похожа на девчонку, которую мы называли Вошкой, как бабочка на гусеницу...

Помолчав, Мари прошептала:

— Какая катастрофа для твоей матери!

— Так ты ее понимаешь?

Да, она ее понимала. Больше мы не разговаривали. Время от времени она брала меня за руку и слегка сжимала ее, словно напоминая о своем присутствии: не бойся, я тут. Так говорила мама, когда мне бывало страшно по ночам. Мари знала этот мой недуг, она наблюдала его у одного из своих стариков.

— Ты сказал Симону, что я привыкла к старикам...

Он передавал ей решительно все!

— Да, он передает все. Так вот, одного из моих стариков буквально душили кошмары, которые он сам себе придумывал.

В Вилландро, где мы остановились заправиться горючим, люди у гаража что-то горячо обсуждали. Садясь за руль, шофер сказал нам:

— Этот мерзавец признался, он задушил ее. Сначала спрятал тело в овечьем загоне, а ночью довез на тачке до Юра и бросил в омут, выше мельницы.

Я закрыл лицо руками — не затем, чтобы скрыть от Мари свои слезы, а чтобы не видеть больше этот проклятый мир, уйти из которого у меня не хватало мужества.

Мама сидела одна в гостиной, ставни были закрыты. Она молчала, словно пораженная громом, и даже не обратила внимания на Мари. Да и узнала ли она ее?

— Я не хотела, мадам, чтобы он ехал сюда один после такого удара.

Мама пристально на меня посмотрела.

— Это был удар для тебя?

— Да, более страшный, чем ты думаешь: ведь это меня испугалась девочка, от меня бросилась бежать как безумная.

Мама несколько раз устало повторила: «Что это ты мелешь?» Но вскоре она насторожилась. Когда я кончил, она сказала:

— Теперь, когда преступника задержали и он

сознался, не стоит тебе ничего говорить, все это останется между нами.

— Нет, — не согласилась Мари, — это важно для того несчастного. Свидетельство Алена докажет, что девочка в самом деле испугалась, что она бежала бегом через лес, что все произошло так, как он рассказал, хотя ему и не поверили: маленькая девочка, выбившаяся из сил, запыхавшаяся...

— Да, — сказал я, — наверно, она совсем запыхалась, это ее и погубило.

Я хотел тут же пойти в жандармерию, но сейчас, по словам мамы, жандармы все были на мельнице: убийца показывал, куда он бросил тело. Я не хотел ждать. Мама сама попросила Мари:

— Вы не оставите его?

Я заинтересовал их гораздо меньше, чем ожидал. Они задержали убийцу и собирались выловить тело. Я считал своим долгом рассказать, как испугалась меня маленькая Серис, но бригадир, который допрашивал меня, очевидно, не придал моим словам ни малейшего значения. Для них это было уже ясное дело. Вернувшись домой, я проспал два часа как убитый. Я узнал, что во время моего сна мама и Мари разговаривали обо мне, или, вернее, Мари старалась объяснить маме, что за мной нужно присмотреть. Должно

быть, она поняла, что убедила маму, поскольку в шесть часов уехала на станцию, не повидавшись со мной.

— Но, — уверила меня мама, — теперь она за тебя спокойна.

Тревога, разбуженная Мари, передалась маме и хоть немного отвлекла от мыслей о маленьком трупе, который мерещился ей неотступно. Ночью мама прилегла на кровать Лорана, чтобы быть рядом со мной, и тут я сделал неожиданное открытие: оказывается, с маленькой Серис ее соединяли совсем не те низменные расчеты, которые я ей приписывал: она нежно привязалась к ребенку, не знавшему матери, и Жаннетта тоже была к ней привязана.

— Но ты не знал, да и не мог знать — ведь ты запрещал мне говорить о ней, — как велика была ее любовь к тебе.

— Ее любовь ко мне?

— Да, это кажется невероятным: ведь ей было всего двенадцать лет. Я бы никогда не подумала, что это возможно, или, пожалуй, была бы шокирована, если бы сама не видела этого обожания, этой нежной преданности, совсем еще детской, но вместе с тем и женской, хотя, разумеется, совершенно чистой и невинной. Уж мне-то из-

вестно, со мной она говорила о тебе без умолку. Знаешь, что помогает мне не роптать против надругательства над невинным ребенком? Я говорю себе: сейчас она видит, что перестал ее ненавидеть, ты плачешь о ней и никогда ее не забудешь, она теперь для тебя не Вошка...

— Но она же не знала, что я звал ее Вошкой?

— Знала. Сам понимаешь, не я ей об этом рассказала. Нума Серис услыхал об этом от Дюберов — полагаю, от твоего дорогого Симона — и как-то вечером, когда был пьян, рассказал девочке. Как она плакала, как плакала...

Теперь плакали мы с мамой. Глубокой ночью мы плакали вдвоем, мама и я, не в силах примириться с чудовищной реальностью, с тем, что вытерпело тело несчастной девочки, со всей этой скверной, с этим поношением...

— Ален, ты прочел все книги, ты знаешь все, что написано о зле, которое допущено богом: зачем же, если это ребенок, маленькая девочка, зачем, прежде чем умертвить ее, нужно было предать и тело ее и душу слепому скоту? В чем смысл испытаний, через которые ежедневно проходят дети? И мы еще знаем только то, о чем пишут в газетах. Но ежедневно, повсюду, во всем мире!..

Она умолкла, ожидая ответа. А я плакал над

маленьким обесчещенным телом, которое никогда не смогут отмыть все воды Юра. Наконец я сказал:

— Может быть, зло воплощено в ком-нибудь одном.

— Значит, этот один существует, он был создан, эта власть была ему дана.

— Мама, другого ответа нет, только это нагое (ибо он был наг), покрытое плевками, гвоздями прибитое к кресту тело, над которым насмехались книжники, — тело господне. Ответ этот девочка будет вечно хранить в своем сердце. Отныне и во веки веков. И скоро мы познаем то, что ощущаем всякий раз, причащаясь этого осквернённого, распятого и восславленного тела.

— Да, я верю, я верю.

Я услышал ее рыдания, первый раз в жизни услышал, как она рыдает от любви.

— Я любила эту малютку, как не любила никого, даже тебя. Я говорила ей: «Ты должна стать образованной, я никогда ни о чем не могла поговорить с Аленом. В нашем кругу нет подходящих женщин для такого юноши, как он». И вот, хотя она кончила только начальную школу, девочка стала брать уроки у нашего учителя, а он очень образованный, скоро защитит диссертацию. И

еще она занималась латынью с господином кюре, и он растолковывал ей вопросы, которые тебя интересуют. Он тоже теперь ими интересуется. Бедный наш настоятель, ты и не подозреваешь, какое влияние ты на него оказывал. Я мешаю тебе спать. Надо спать, мой дружочек.

— Я не хочу спать. Главное, чтобы ты была здесь.

Мы лежали некоторое время молча. Под порывами ночного осеннего ветра заговорили сосны Мальтаверна, и они вместе с нами оплакивали маленькую девочку, заживо брошенную дикому зверю, но не просто пожрал ее дикий зверь, как деву Бландену, а была она отдана на самое страшное поругание, какое только может выпасть на долю божьего творения на нашей земле, и последний ее взгляд был устремлен на искаженное, нечеловеческое лицо... Мама заговорила снова:

— Если я правильно поняла эту особу («этой особой» была Мари), ты забрал себе в голову, будто я поручила малютке шпионить за вами в мое отсутствие. Неужели ты считал меня способной на это?.. Правда, я многое ей рассказывала... Мы жили с ней так дружно, когда я бывала в Мальтаверне без тебя! Она знала все мои опасения, с тех пор как эта особа вошла в твою жизнь. Ведь мы

только о тебе и говорили. И если малышка тогда за вами подсматривала, то не потому, что я ее об этом просила, нет, это она сама, по собственному почину. Никогда бы я не поверила, что девочка ее лет может так ревновать. Она сама рассказала мне, как она страдала из-за тебя в тот вечер, в ту ночь, она мне рассказывала все. Мы друг другу все рассказывали. А я, знаешь, я не была ревнивой. Я готова была отдать свою жизнь, только бы ты полюбил ее. Она верила, что ты в конце концов ее полюбишь, и даже меня заставила в это поверить. Ужаснее всего, что это правда, ты действительно полюбил ее за час до того, как ее изнасиловали и задушили...

— Да, и буду любить до конца своих дней, буду беречь ее, носить в своем сердце эту бедную маленькую Вошку, единственную мою любовь.

Вдруг я услышал, что мама смеется. Да, она смеялась. Она сказала:

— Знаешь, как она отомстила за то, что вы прозвали ее Вошкой? Так вот, эту особу она иначе, как Крючок, не называла, потому что она знала, как я волнуюсь из-за девицы, «которая подцепила тебя на крючок».

На этот раз мы долго молчали, потом мама уснула. Ее дыхание было хриплым, казалось, оно

с трудом прорывается сквозь все еще не пролитые слезы. Я не спал, мысленно я повторял уже пройденный путь, свой крестный путь: первая остановка — смерть брата; вторая — изнасилованная девочка. Слабый, безоружный, найду ли я силы сделать еще хоть один шаг? Ах, лечь на голую землю, в заветном уголке Мальтаверна, который я в детстве называл «отрадой». Почему «отрада»? Распластаться и ждать, пока я не усну беспробудным сном.

Наконец задремал и я. Когда я проснулся, мамы в комнате не было. Должно быть, пошла к утренней мессе. А я, я не пытался молиться. Это не было бунтом, но после подобного несчастья ощущаешь пустоту — не то чтобы отсутствие, нет, просто немыслимо, что там кто-то есть, и, однако, он есть: такова тайна веры, нерушимой у тех, на кого снизошла ее благодать, веры, способной устоять даже перед убийством маленькой девочки, этим убийством, при одной мысли о котором мне хотелось выть протяжно и монотонно, как страдающее животное.

Проснувшись, каждый из нас вернулся к своей скорби, замуровался в ней снова. Чтобы избежать назойливости журналистов (мои показания появились в газетах), сегодня утром я отправился

охотиться на вяхирей. В Шикане меня никто не найдет. Кроме того, убийца сидит за решеткой, он сознался, и вся эта история уже вытеснена другими. Самое главное было найти силы, чтобы продолжать свою собственную историю, решить, в каком направлении идти. Мари написала, что мне следовало бы уехать в Париж, как только я почувствую себя в силах, *«... вырвать корни, — твой Баррес объявил это злом, но это единственное исцеление, единственная надежда на выздоровление после полученного тобой удара. Конечно, где бы ты ни был, то, что случилось, навсегда останется в тебе, но, может быть, ты наделен даром, который так восхищает тебя в других, — даром оживлять прошлое, извлекать его из могилы. Знаешь, что говорит о тебе Симон Дюбер с упорством, несколько утомительным, но, в конце концов, подкупающим? „Он будет великим человеком, вот увидите!“ — твердит он. За это я люблю его, несмотря на все его дурные черты, черты развращенного крестьянина, несмотря на то, что вы в своем Мальтаверне превратили его в чудовище. Он верит в тебя. Он любит тебя не так беззаветно, как ты воображаешь, иногда даже ненавидит, но он в тебя верит. Когда в нас верят другие, эта вера указыва-*

ет нам правильный путь. Вслед за Донзаком мы с Симоном указываем тебе твой путь, и вне его настоящей дороги для тебя нет.

Единственное препятствие — твоя мать, и, поверь, я не стану тебе советовать не считаться с ней. Если я и испытываю угрызения совести, вспоминая нашу историю, то только из-за этой бедной мадам, которую я так безжалостно упрощала, поверив образу, созданному тобой и Симоном. Помнишь, я говорила тебе по поводу ее частых отлучек в Мальтаверн, что „она изменяет тебе с твоим имением“? Что ж, теперь мы знаем, она изменяла тебе с Вошкой — все объяснялось любовью, хотя ни плоть, ни кровь тут были ни при чем».

Да, наконец я это понял: старая женщина излила на девочку всю нежность, которая никому на свете не была нужна, кроме мужа — но он был ей физически противен, или меня — но я превратился для нее в существо непонятное, принадлежащее к другой породе, хотя и вышел из ее чрева; одно мое присутствие еще больше углубляло пучину одиночества, где утонула бы бедная мадам, не будь имения, которое поддерживало ее на поверхности, и благочестивых обязанностей, размечавших, как вехами, все ее дни... Но была

еще эта малышка, которую я ненавидел, и которая любила меня, и которую она полюбила.

Да, обойти это препятствие было нелегко. Мама одобряла мое желание ехать в Париж, но просила повременить еще хоть год. Конечно, я могу готовить свою диссертацию и в Бордо. Как будто дело было в моей диссертации! Речь шла о моей жизни (во всяком случае, в этом я убеждал себя). Нужно было испробовать последний шанс, вырвать себя с корнем из этой земли, где я был ранен в самое сердце, произвести опыт пересадки — как у нас говорят, «пикировку» растения в другой грунт — ради идеи, которую внушили мне не только Донзак, Симон и Мари, но, возможно, также и дельцы, из которых я был родом, — идеи использовать свой страшный дар, сделать так, чтобы из него даже крошки не пропало. «Даже крошка не должна пропасть», — твердили, бывало, нам, детям, но тогда речь шла о корке хлеба или об огарке свечи. А теперь для меня «не должно пропасть» то, что я выстрадал сам и заставил выстрадать других: и эта девочка, брошенная убийцей в бегущую под ольховыми деревьями речку, которая будет струиться во мне до последнего смертного часа, и моя мать, подавлявшая всех, но сама теперь раздавленная горем. На этот

капитал и придется мне жить. Все, что еще может со мной случиться, как бы долог ни был мой путь, останется вне рокового круга, замкнувшего этот период моей жизни.

Мама говорила мне: «От горя не умирают. Люди не умирают от горя. Даже если они не могут утешиться, они не умирают, а вот я умру, я чувствую, что постепенно умираю. Подожди немного, не покидай меня». Я не мог ей ответить, что для меня, в двадцать два года, все это не так просто, что я сам должен постараться выжить. Каждый день я уносил с собой в Шикан томик Бальзака из библиотеки моего отца в издании Шарпантье 1839 года, где многие романы названы по-другому, чем в полном собрании сочинений. Бальзак не принадлежит к самым любимым моим писателям. Он слишком мясист (я говорю о его стиле). Но он принадлежит к тем авторам, которые наиболее непосредственно воздействуют на меня, как возбудители нежелания умирать.

Мне отвратительна порода описанных им молодых честолюбцев, их жестокость; однако же они вызывают у меня — даже у меня — желание попытать счастья на своем пути, моем пути, который мне предстоит еще открыть.

А пока что я по-прежнему нахожусь внутри

замкнутого круга: все происшедшее еще не завершилось настолько, чтобы можно было его переложить на бумагу и описать. Оно не пережитое, оно то, чем я живу и сейчас. И мама здесь, она еще жива, и я не могу оставить ее умирать в одиночестве, когда в ней еще жив обожаемый образ изнасилованной девочки с открытыми глазами. Она говорила мне: «Каждую минуту, и днем и ночью, я вижу ее мертвую, но глаза у нее расширены от ужаса».

Она каждый день ходила к старому Серису, который против ее ожидания пил умеренно, но только потому, что хотел привести в порядок свои дела, а уж потом «всерьез взяться за вино».

— Поверишь ли, — говорила мама, — на похоронах, где плакали буквально все, старика Сериса, казалось, тронули только твои слезы. Он мог бы тебя возненавидеть, хотя и не подозревает, что малышка столько из-за тебя настрадалась, так нет же! Знаешь, что он мне предложил? Фиктивную продажу всех его земель, чтобы ты стал его наследником, наследником Жаннетты...

— Ни за что на свете! — воскликнул я.

— Разумеется, — сказала мама, — об этом не может быть и речи. Я была так уверена в твоем отказе, что отказалась от имени нас обоих. Тогда

он стал уговаривать меня совершить настоящую сделку, с сохранением за ним права пользования. Тебе решать.

— Но, мама, я сделаю все, что ты хочешь.

— Что я хочу? Я больше ничего не хочу. Одна мысль о том, чтобы извлечь пользу из этой смерти, приводит меня в ужас. Имение Сериса будет разделено между его племянниками и тем самым уничтожено. Этого я и хочу: пусть не останется ничего из того, что принадлежало ей. Я была бы рада, если бы все сгорело. Впрочем, Нума Серис уверен, что так оно и случится, все в конце концов сгорит.

— Но, мама, почему же сейчас все должно сгореть, а раньше не сгорело? Уже давным-давно бьют в набат и одолевают огонь...

— Потому что, говорит Серис, если в будущем и ударит кто-нибудь в набат, никто не придет больше на его зов: на фермах никого не останется. Люди не хотят жить, как волки, в этом захолустье, питаясь черным хлебом и маисовой кашей. Серис говорит, что американским ученым не нужна больше наша смола для извлечения скипидара, а спрос на сосну для шахтных креплений и железнодорожных шпал будет все время падать. И тогда все сгорит, — повторила мама с каким-то

безнадежным удовлетворением, — ведь вокруг никого не будет... И почему это только одним деревьям дарована пощада? Они тоже умрут, сгорят заживо. Уж лучше так... Ты думал, что я люблю землю ради земли. А я мечтала, как ты и малышка станете хозяевами всех этих угодий, а я буду оберегать вас обоих и ваши интересы, и смотреть на нее, и видеть, что она счастлива с тобой. Когда настоятель увещевал меня и твердил без конца: «Не унесете же вы свои фермы с собой!», я отвечала ему: «На смертном одре я буду радоваться, что передам их своим детям и оставлю все в отличном состоянии». Я уверяла настоятеля, что земельная собственность долговечна и если страдает она от разделов, то приумножается с помощью браков и наследования и потому смерть ей нипочем. Теперь я знаю, что это неправда. Но что же правда, Ален, что же правда?

Мне оставалось лишь одно: вручить себя в руки божьи и ждать от него того знака, зова, который, возможно, услышу только я и который возвестит час мой. Но я не принимал во внимание того, что без моего ведома, без ведома самой мамы происходило в ее душе, да, буквально «происходило», изменялось и неожиданно вылилось в принятом ею решении, которое вернуло мне свободу.

В День всех святых мы пошли на кладбище отнести цветы маленькой Серис. Я был поражен, что мама не прочла «*De Profundis*», как обычно читала, приказав мне и Лорану стать на колени, когда мы приходили на могилу бедного папы: «Из глубины взываю к тебе, господи...» Может, в мамином голосе вопреки ее воле это моление звучало слишком драматически, а может, моя собственная тоска придавала ее голосу такое звучание? В этот День всех святых никто не взывал из глубины, из бездны, на краю которой, выпрямившись, стояла мама — старый дуб с еще зеленой листвой, но уже сраженный молнией. Она не преклонила колени, губы ее не шевелились. На обратном пути она сказала:

— Сейчас я приняла решение. Я не вернусь в Бордо. Я буду ждать здесь. А ты можешь отправляться в Париж, как выразилась эта особа в тот день, когда она тебя привезла: «Ему необходимо отправиться в Париж...» — твердила она.

— Но... чего же ты будешь ждать, мама?

Она повторила: «Ждать...» Я напомнил ей, что здесь не будет господина настоятеля, который решил доживать свой век в Бордо, но не во главе какого-нибудь прихода, как он мечтал и надеялся, а наставником в школе женского монастыря.

— Я знаю, но его преемника мне долго ждать не придется.

Мы еще не были знакомы с новым священником: он отказался посетить нас, сначала он решил обойти всех до одного фермеров своего прихода. Он весьма резко объявил бедному настоятелю о своем твердом намерении не превращаться, подобно ему, в «священника при замке».

— Голод не тетка, — сказала мама, — скоро я увижу его здесь с протянутой рукой. А фермерам он понадобится, как обычно, только затем, чтобы освятить новый свинарник. Господин настоятель, впрочем, находит, что его преемник прав, что мы все заблуждались и будем заблуждаться и впредь.

Она шла по дороге твердым шагом, отвечая на приветствия, строго дозируя свои кивки и улыбки в соответствии с общественным положением встречного, и, однако же, в эту пору своей жизни она напоминала мне муху, у которой один мой школьный товарищ, изображая разжалование Дрейфуса, обрывал лапку за лапкой, крыло за крылом. Так и мама изо дня в день лишалась всех своих непоколебимых убеждений. Ничто не было истинным из того, во что она верила, но самым ложным оказалось то, что она принимала

за откровение. Даже если сейчас она не сознавала всего с полной ясностью, она воспринимала это как очевидность, мрачно и бесчувственно, как женщина, сраженная утратой ребенка, которого любила больше всего на свете: теперь можно отнять у нее все, она больше ничего не почувствует.

— Когда у нас ничего не остается, — сказал я ей, — когда мы чувствуем себя покинутыми, наступает час, неизбежный для каждого, и приходит наш черед воззвать: «Отец мой, почто ты меня оставил?» Этот час окончательного поражения воплощен в кресте, крест является его символом, непереносимым, неприемлемым для человека в молодом или зрелом возрасте — вплоть до того дня, когда очертания его полностью сольются с очертаниями нашего тела...

Мама прервала меня:

— И нашего сердца.

Меня поразило это слово в ее устах. Значит, она знала, что распинают всегда именно наше сердце? Неужели мы все просто не замечали, что мама жила только сердцем? Может быть, нежность, с какой она относилась к Жаннетте, проявлялась и раньше? Я попытался припомнить. В моей памяти всплыло воспоминание, как после смерти отца

в наш старый особняк, куда почти никому не удавалось проникнуть, раз или два в год приходила мамина подруга по монастырской школе Сара М., ирландка или англичанка; она приводила с собой маленькую девочку, «свою воспитанницу», говорила нам мама. Они приезжали откуда-то издалека, похожие на морских птиц, ветром прибитых к берегу во время бурь равноденствия. Рождение этой маленькой девочки, ее звали Андре, было связано с одной из тех тайн, о которых мама говорила: «Это вам еще рано знать». Все было нам еще рано знать, но все входило в меня и ничто теперь не должно пропасть.

Последний арьергардный бой мама дала мне, уговаривая меня поселиться в Париже вместе со студентами-католиками. Я заверил ее, что в двадцать два года я уже достаточно взрослый и меня не только не пугает отсутствие знакомых в Париже, но даже подзадоривает: начать с нуля, попытать счастья в этом вечно повторяющемся завоевании столицы юным провинциалом, без единого рекомендательного письма в кармане.

— Но как ты будешь жить?

— Ну, как всякий прилежный студент, не упускающий ни одного шанса преуспеть. А в первом ряду удач стоят встречи с разными людьми.

Мама спросила:

— Ради добра или ради зла?

— Так просто никогда не бывает. Я уверен, что все встречи, даже самые дурные, послужат ко благу.

— Что ты об этом знаешь, бедный мой дурачок!

И в самом деле, что я об этом знал? Я сам осмыслял свою историю, строил ее произвольно, в согласии со своими целями, приписывал предвечному человеческие побуждения и сам был доволен собственным вымыслом...

Мама больше не слушала меня. Она спросила, какую сумму надо будет высылать мне каждый месяц. Я мог бы ответить, что ей незачем в это вмешиваться, что для распоряжения своим состоянием я не нуждаюсь в посредниках. Это ей и в голову не приходило. До самого конца она будет проверять мои расходы, проводить все воскресные вечера, склонившись над счетными книгами.

ГЛАВА XIII

Ноябрь выдался какой-то лучезарный. Мама проводит меня в Бордо, поможет уложить вещи и вернется одна в Мальтаверн, она это решила твердо. Но я повторял ей без конца, что ничего не хочу решать заранее и останусь с ней, если найду это нужным, хотя вижу, что от меня ей теперь помощи мало. Она не стала спорить хотя бы для виду.

За день до нашего отъезда она попросила меня пойти вместе с ней к мельнице господина Лапейра. Я признался, что и сам хотел пройти еще раз тот путь, но не мог собраться с силами.

— Вдвоем мы сможем, — сказала она.

На маме была городская шляпка, она натянула черные перчатки и раскрыла зонтик. Она не носила траур, она не имела права носить траур по Жаннетте, которая не была ей родственницей, но теперь в ее туалете не проявлялось ни малейшей небрежности, допустимой в деревне, как будто мертвая девочка, неотступно стоявшая перед ней, обязывала ее к строгому соблюдению неписаного церемониала.

Мама, которая обычно редко ходила на прогулки, выступала по песчаной дороге, покрытой ковром сосновых игл, особенно величаво. Когда показалась мельница, она взяла меня под руку, раньше она этого никогда не делала.

— Вот отсюда я ее увидел, — сказал я, — сначала я подумал, что это мальчик.

Мама остановилась. Она долго смотрела на спящую в запруде воду, поверхность которой не тревожило дуновение ветра. Она попросила отвести ее в то место среди папоротника, где я тогда сидел.

— Кажется, это было здесь. Да, здесь.

Она застыла, повернувшись лицом к сонной воде, и тут я увидел, как она, никогда не плакавшая при нас, прижала к глазам затянутую перчаткой руку. Она сказала:

— Дай мне твой платок.

— Пора возвращаться, мама. Вернемся ближним путем.

Она не ответила, вышла из зарослей и направилась к запруде. Нет, это невозможно, нельзя подвергать ее такому испытанию. Я взял ее под руку, но она отстранилась. О, как долго тянулись бесконечные минуты, и я все смотрел на искаженное водой отражение моей матери, одетой

по-городскому, в шляпке и в перчатках, под раскрытым зонтиком.

— Вернемся, — сказала она наконец.

Мы пошли по песчаной дороге, которая для маленькой Серис оказалась последней дорогой в ее жизни. Я должен был показать маме, на каком расстоянии от меня то чинно шагала, то весело подпрыгивала бедная Красная Шапочка.

— Ах, — прошептала она, — вот тропинка, по которой она побежала, когда увидела тебя...

— Да, здесь она свернула в лес.

Словно отыскивая затерянный след, мама расспрашивала меня, пристально вглядываясь в землю:

— Ты уверен, что именно здесь она свернула?

В лес мама не пошла. Она стояла неподвижно, возвышаясь над папоротником, лицом к соснам, которые видели все... Я попытался взять ее за руку, но она вырвала ее и, не поворачивая головы, произнесла вполголоса:

— Все оттого, что она тебя боялась. Если бы ты просто не обращал на нее внимания, как всякий юноша твоего возраста на ребенка, она бы и не подумала бежать, ничего не случилось бы, она была бы жива. Она пришла в такой ужас, потому что знала, как ты ее ненавидишь...

— Нет, мама, нет! Она знала, и именно от тебя, что я не хочу этого брака, задуманного из корыстных соображений.

— Не из корыстных. Это ты мне их приписывал.

— Ты никогда ничего такого не говорила, чтоб я мог считать иначе...

— Но ведь ты так ее ненавидел, что я боялась даже произнести при тебе ее имя. Раскрой я тогда рот, ты заставил бы меня замолчать, ты ушел бы, хлопнув дверью. Она знала, что ты дал ей эту мерзкую кличку. Вот отчего она умерла. Да, она была уже ранена насмерть, когда бросилась в лес. Ты давно уже нанес ей этот смертельный удар.

— Ты слишком несправедлива, мама.

Я снова хотел взять ее под руку, но она оттолкнула меня почти грубо и пошла вперед одна, а я тащился следом, повторяя: «Ты слишком несправедлива, слишком несправедлива...» Тогда она полуобернулась и сказала с вызовом:

— Да, все это ты! Все это ты...

— Неужели, мама, ты не видишь, что если я виновен в этом несчастье, то и ты тоже, ты прежде всего. Ведь ты сделала все, чтобы этот план стал мне омерзителен. Ты всегда все решала за меня, но, в конце концов, мне двадцать два года,

у меня вся жизнь впереди, а ты собиралась распорядиться ею по своему усмотрению, и напрасно ты отрицаешь — ни о чем другом, кроме земель Сериса, не было и речи. Никогда, ни разу в жизни, не мог я догадаться о твоей привязанности к девочке...

— Потому что я боялась рассердить тебя еще больше, если бы ты узнал, что я люблю ее...

— Больше, чем меня?

Она не ответила. Она поднималась на крыльцо Мальтаверна, останавливаясь на каждой ступеньке. В прихожей она снова оттолкнула меня:

— Мне надо побыть одной. Мне больше никто не нужен. Пойми меня, никто.

Я услыхал, как захлопнулась дверь ее спальни, и присел у камина. Поднялся ветер, сосны, размахивая ветвями, казалось, подавали мне знаки в окно. Их протяжный, жалобный стон сливался с немым криком, который готов был сорваться с моих уст, с ропотом против бога, кротким и безнадежным. Лампу я не зажег. На что мне решиться? Моей матери я сейчас не нужен, больше того, мое присутствие для нее невыносимо. И все-таки я должен охранять ее, быть рядом, чтобы откликнуться на первый ее зов. Ее враждебность смягчится, волей-неволей я стану ее единствен-

ным прибежищем: ведь, кроме меня, у нее нет никого. Да, но если она откажется уехать отсюда, что будет со мной? Проведем ли мы с глазу на глаз всю зиму в Мальтаверне или я останусь один на улице Шеврюс, под присмотром Луи Ларпа?

Мысли мои следовали одна за другой без всякой связи. Сам не знаю, сколько времени прошло, сколько я просидел, не зажигая света, у камина. Сумерки за окном сгущались, и я различал уже только два бледных пятна вместо моих рук, лежавших на острых коленях, и тут я услышал на лестнице мамины тяжелые и медленные шаги. Ужинать было еще рано. Значит, она возвращалась ко мне. Она вошла. Я не встал с кресла. Она провела рукой по моему лбу и откинула волосы назад, как бывало в детстве, чтобы поцеловать меня, но в этот вечер поцелуя не последовало. Тем не менее она заговорила с вымученной нежностью, вообще ей не свойственной.

— Забудем все, что мы наговорили друг другу, бедный мой мальчик. Мы оба были несправедливы. Помню, я огорчалась, когда ты уверял, что между нами нет никакого обмена мыслями, что мы никогда друг с другом не разговариваем по-настоящему, как в пьесах или в романах. Ну что ж, по дороге с мельницы мы наверстали

упущенное.

— Да, все это произошло против нашей воли.

— Все, что произошло, надо забыть, — во всяком случае, забудь, что наговорила я. Мне нужно было на кого-то пожаловаться, на кого-то свалить вину. И тебе тоже... Вот мы и сваливали друг на друга...

— Да, — ответил я мрачно, — как два сообщника на суде, обвиняющие один другого.

Она сказала:

— Замолчи!

Я не видел ее лица, но слышал, что она плачет. Я встал, обнял ее, попросил прощения

— Нашей вины тут не было, мама. А то, что от нас зависело, могло привести на худой конец только к недоразумению, и оно бы рассеялось, даже очень быстро рассеялось: ведь мне не терпелось узнать, кто эта купальщица, и я узнал бы это в тот же вечер, не приди телеграмма от Симона.

— Это ничего бы не изменило. К тому времени все уже свершилось.

— Да, мама, и ни ты, ни я не виноваты в этом ужасном совпадении. Такие преступления всегда бывают вызваны случайностью. Всегда можно сказать: «Если бы девочка пошла другой дорогой...»

Она прошептала:

— Теперь все кончено. Это было, это свершилось.

Мы сидели молча. Я различал только неясную темную фигуру в кресле напротив.

— Послушай, Ален, оставим пустые слова и поговорим начистоту. Для тебя вопрос решен, тебе надо уехать. Так будет лучше для нас обоих. Ты будешь часто писать мне: в письмах люди не раздражаются. Будешь рассказывать о своей жизни, вернее, о той части своей жизни, о которой сможешь мне рассказать. Я стану заниматься твоими делами; если я заболею, достаточно послать телеграмму — «дион» будет ждать тебя в Бордо, и в тот же вечер ты приедешь в Мальтаверн.

— Да, на расстоянии тебе будет легче меня переносить, ты снова ко мне привыкнешь...

И на этот раз она не стала спорить. Но слышала ли она, поняла ли? Она спросила:

— Ты твердо решил ехать послезавтра? Один день, так или иначе, надо провести в Бордо...

— Нет, мама. Книги, которые я хочу взять с собой, у меня здесь. Автомобиль отвезет меня прямо к парижскому поезду. Он отходит в одиннадцать четыре.

— Но ведь почти все твои вещи на улице Шеврюс...

— У меня здесь есть все необходимое для студента, которым я собираюсь стать, а студента никто не станет приглашать в гости, он ни с кем не знаком.

— Но в конце концов у тебя завяжутся знакомства...

— Возможно... Но прежде чем пуститься в свет, я все-таки посмотрю, как одеваются в Париже. Вспомни, чего только не натерпелся бедный Люсьен де Рюбампре, когда явился в Париж, одетый по ангулемской моде.

— Какой еще Люсьен де Рюбампре? — спросила она рассеянно, словно не ожидая ответа.

— Полно, мама! Ты ведь читала «Утраченные иллюзии»! Я сам тебе давал.

— О, ты знаешь, я ведь не то что ты: у меня в голове ничего не держится, все сразу улетучивается.

Она принялась ворошить головешки в камине, упершись, как всегда, локтями в колени, и вдруг сказала:

— Надо телеграфировать этой особе, пусть встретит тебя на вокзале и посадит на поезд.

— Нет, мама. Меня уже не нужно сажать на поезд. Да и потом, я ненавижу вокзалы не меньше, чем кладбища. Я начну новую жизнь послезав-

тра, в одиннадцать четыре. Это будет мое второе рождение.

Жена Прюдана доложила, что ужин подан.

— Подумать только, — сказала мама, поднимаясь, — я поем с удовольствием: я проголодалась.

Мы сидели друг против друга под висячей лампой, она коптила, пахло керосином. Я вдруг почувствовал радость при мысли о скором отъезде в другой мир, в другую жизнь.

Нет, это была не радость — это было нетерпение, какое испытываешь в нескончаемом, душном туннеле: нужно вырваться из него во что бы то ни стало, как можно скорее, бежать навсегда, не оглядываясь, унося все свои сокровища в себе самом.

Мать тяжело поднялась из-за стола, и мы снова устроились, каждый в своем кресле. Она подбросила полено в камин и, как всегда, немного приподняла юбку, чтобы погреть ноги у огня. Не глядя на меня, она внезапно сказала:

— Вот я все думаю об этом, по-моему, тебе следует известить эту особу о своем отъезде и сообщить ей, когда отходит поезд.

— Тебе не кажется забавным, мама, что именно ты...

Я вовремя остановился, побоявшись причинить

ей боль каким-нибудь неосторожным словом.

— Да, — сказала она, — я дурно о ней думала. Для меня она была той особой, которая угрожала счастью моей малютки. Разве я могла вообразить в своем ослеплении, что, прежде чем погубить это счастье, погубят ее, бедную мою девочку, и какой страшной будет эта гибель. Все мне представляется теперь по-иному, и люди, и их поступки... Или, вернее, я их вижу такими, какие они есть, не хуже, не лучше. Ах, теперь мне нетрудно будет выполнять заповедь: «Не судите...» Нет, больше я не судья. А кроме того, я знаю эту особу лучше, чем ты думаешь. Я не рассказывала тебе подробно, о чем мы говорили в те два часа, когда ты спал как убитый после показаний в жандармерии. Она не разыгрывала комедию, поверь мне. Она хотела только одного — чтобы я не упускала тебя из виду. Она полагала, что ты страдаешь недугом, который она наблюдала у отца Х., сыгравшего такую зловещую роль в ее жизни. Я поняла, чем она была для тебя, чем могла быть и впредь... Да и не все ли равно теперь, она ли, другая... Она заняла бы мое место, она защитила бы тебя, охраняла, не требуя ничего взамен. Когда-то ты сказал мне: она выстрадала больше, чем любая другая девушка ее возраста. Теперь я понимаю, что это

значит: она переступила черту, за которой уже нет ничего. Раньше, хотя я и была старухой, я жила своими надеждами, ненавидела все, что им угрожало. Но теперь... почему бы и не она, в конце концов? Я протяну еще некоторое время, но не так уж долго. Ты останешься один. Так вот, почему бы и не она?

— Нет, мама, не начинай все сначала, не будем начинать сначала. Моя жизнь здесь была подобна смерти, вот от нее-то мне и нужно освободиться, и я освобожусь. Если не выдержу и погибну, что ж, чем скорее, тем лучше. Но нет, я буду жить! Я буду жить!

— Неблагодарный! Ты всегда был неблагодарным. Теперь это узнает и та особа, а я это знала всегда.

— То, что могла мне дать только она, и то, что дала она мне, я никогда не забуду, сколько буду жить на свете. Но пойми меня, мама, я тоже переступил черту, за которой уже нечего думать о счастье: речь идет о том, чтобы подчинить себе жизнь. Эту черту я переступил в двадцать два года, а ты — после шестидесяти.

Эти слова я говорил маме накануне своего отъезда в Париж. Но теперь я их перевел на бумагу. Я занимался транспонированием себя самого, с

тех пор как начал свои записи, без всякой задней мысли, только потому, что всегда был первым по сочинению и продолжал писать с привычным рвением прилежного ученика. Теперь для меня настал час взглянуть прямо в лицо искушению — и при этом не умереть от стыда, — уступить которому я смогу, лишь когда мамы больше не будет: пусть книжка в дешевом переплете, ценой в три франка станет завершением всех этих страданий. Новый, родившийся во мне человек выкажет силу и мужество, дерзнув использовать для своего восхождения собственную свою судьбу, которая станет содержанием книжки ценой в три франка, в дешевом переплете.

Мы еще долго беседовали с мамой во время этого вечернего бдения, пока наконец не разошлись молча по своим комнатам (я нес в руке все ту же сохранившуюся с былых времен керосиновую лампу, ведь электричество в нашем доме выключалось на втором этаже!), но в моей памяти не сохранилось больше ничего. Наверное, мысли мои были чем-то отвлечены, все мое внимание было поглощено возникшей передо мной очевидностью, которую до той поры я не мог ясно сформулировать: я понял, что отречение от мамы и отречение от Мари было продиктовано мне

одной и той же необходимостью; дело было не в моей эгоистичной или жестокой натуре, не в моей черствости по отношению к другим. То, что нашло наконец во мне свое выражение, то, чему я готов был подчиниться с холодной решимостью, было желание выжить, и непременным условием этого стало для меня двойное отречение.

Долгой осенней ночью, вытянувшись под ледяными простынями, безуспешно пытаясь согреться в своей деревенской спальне, я методически продумывал все от начала до конца. Керосиновая лампа еще горела, но вне узкого светового круга комната была залита полумраком, благоприятствующим призракам, живым и умершим. Я спрашивал себя, поможет ли мне полная безликость номера в парижском отеле заклясть эти призраки? Нет, я не боялся их, но начать эту новую, неведомую жизнь я смогу, лишь когда они уснут во мне и не будут отвращать меня от предстоящей битвы.

Я не останусь одинок, это я знал. Я буду любим, это я знал. Но я заранее решил не перекладывать свое бремя на чужие плечи. Достаточно я чернил себя, и не следует больше подбавлять черной краски в описание своего характера. Этой ночью у меня не было и мысли о том, чтобы использо-

вать других людей, заставить их служить моему успеху или моим удовольствиям. Я не знаю, что называет господь грехом против духа, тем грехом, который он не отпускает, но я знаю, я всегда знал, что такое грех против плоти. Малютка Серис, изнасилованная и задушенная, — это и есть чудовищный образ преступления духовного, безнаказанно совершаемого множеством людей, которые даже не знают, что они виновны, а может быть, и на самом деле не виновны. Но я, господи, что бы я ни делал, я виноват перед тобой. Я буду стараться обрести былую чистоту, потому что знаю: я не могу обойтись без тебя, и ты тоже знаешь: рожденный в другой среде, я, возможно, мог бы обойтись без всего, кроме тебя.

Так я молился в эту предпоследнюю ночь в Мальтаверне: мысли мои блуждали между прошедшими временами и грядущими, между пережитыми страданиями и теми, что еще предстоит мне пережить вместе с новыми встречами, поражениями, ошибками, болезнями и неожиданностями. Я всегда думал только о своей собственной истории, как будто история Франции меня не касалась.

Я снова принимаюсь за эту тетрадь в комнате, такой же тихой и мирной, как моя комната в

Мальтаверне. Окно ее смотрит в узкий садик отеля «Эсперанс» на улице Вожирар, что против семинарии кармелитов. Гул Парижа глуше, чем гул сосен в парке под дыханием бурь равноденствия; я спокоен, я не страдаю. Вчера, воскресным утром, я продавал газету Санье «Демократия» у выхода из церкви Сен-Сюльпис после торжественной мессы. На второй же день после приезда я пошел на бульвар Распай. Для начала мне дали это поручение, не поглядев на мое звание лиценциата словесности, которым я, кажется, впервые похвалился. Без сомнения, они были правы, подвергнув меня такому испытанию — оно оказалось решающим: больше они меня не увидят. Пять или шесть лет назад я бы на это согласился, сейчас — слишком поздно. Итак, мне не остается ничего другого, как посещать библиотеки, записаться на факультет, слушать лекции, быть студентом среди студентов, ничем не выдавая того, что я несу в себе, хотя, возможно, мой груз не тяжелей груза, что отягощает любого из них. Но за эту историю отвечаю я, и никто другой, только я могу уследить, чтобы из нее не пропало ни крупицы, чтобы не пропало ни крупицы отрочества, не похожего на все другие. Да, это было отрочество, самое щедрое и вместе с тем

самое обездоленное, а главное — самое одинокое; и, как ни мало участников в этой драме, у какого другого юноши есть такая мать, как у меня, кто из них хранит в своем сердце оскверненную и задушенную маленькую девочку?

Последние страницы этой тетради должны ясно ответить на один, казалось бы, простой вопрос, от которого, однако, я уклоняюсь с тех пор, как приехал в Париж. Андре Донзак живет напротив моего отеля, в семинарии кармелитов, но он полагает, что я еще в Бордо. Почему я не дал ему знать о своем приезде? Сначала я рассчитывал на случайную встречу, которая казалась мне неизбежной, как будто улица Вожирар была улицей Шеврюс! Говоря откровенно, я боюсь этой встречи. Почему? Я ведь отлично знаю, что непременно должен его увидеть. Мне нужно, чтобы кто-нибудь ввел меня в Сорбонну, но не торопливый и равнодушный посредник, а друг, такой, как Донзак, который знает меня и взялся бы руководить мной, пока это будет нужно, — в Сорбонне, в библиотеках, а также в музеях. Я живу в двух шагах от Люксембургского музея, от зала Кейботта, где Андре бывает чуть не каждый день; я поклялся ему, что не пойду туда без него: он хочет видеть, как я впервые взгляну на «Бал-

кон» Мане[38]. Я подожду, я терпелив: парижские улицы стоят всех музеев.

По правде говоря, у меня есть более настоятельный повод выманить Донзака из берлоги: я жажду снова заполучить свои тетради, которые он держит у себя. Ах! Это главное! А вдруг пожар уничтожит ветхую семинарию, вдруг Донзак умрет скоропостижно... Дневник подростка. Какое безумие ставить всю свою жизнь на одну эту карту! А я поставил. Слава богу, кроме меня, никто об этом не знает и не может надо мной посмеяться.

Сейчас мне еще нужно заполнить четыре страницы еженедельного письма к маме. Душевные переживания ей ни к чему, я должен, как она говорит, «что-нибудь рассказывать». До сих пор я писал ей только о своей гостинице, о том, как меня кормят и обслуживают. В двух кратких ответах она сообщала о своем здоровье и о продаже леса.

Но давайте копнем поглубже. Донзак принадлежит, по крайней мере в данный момент, к тому же подзолу, к тем же пескам, из которых я вырвался, чтобы не умереть. Боюсь, что, как только

---

[38] Примечания: 38

Мане Эдуард (1832 — 1883) — французский живописец, гравёр, один из родоначальников импрессионизма.

мы встретимся, одно его присутствие развеет чары Парижа. Как определить эту пьянящую колдовскую силу? Я брожу, словно хмельной, я погружаюсь в людскую реку, меня уносит ее течением, и я то плыву по тротуарам, то ныряю в бары и погребки вроде «Таверны Пантеона» на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Суфло. В Бордо я был молодым Гажаком и боялся людей, но в Париже я — никто, я никому не известен, как только может быть неизвестен человек, лишенный имени, хотя, к сожалению, не лишенный лица — дело в том, что тут полно охотников за смазливыми личиками, но я их не боюсь, в подобной охоте дичь должна быть сообщником ловца, а этого, я уверен, со мной не случится.

Я шагаю в ночи до тех пор, пока меня носят ноги. Ах! Теперь я знаю, почему столько лет я бродил по лесам Мальтаверна то к Большой сосне, то взглянуть на старика из Лассю!

Первые вечера я не переходил на другой берег Сены. Я стоял, облокотившись на парапет моста — я люблю эти парапеты, на них опирались Бодлер, и Морис де Герен[39], и множество вымышленных персонажей! Я читал про себя «Пьяный корабль»

---

[39] Примечания: 39

Морис де Герен (1810 — 1839) — французский поэт, предшественник символистов.

(Рембо я узнал только в этом году) и Виктора Гюго[40], чей дух витал здесь над каждым камнем. Но вот однажды я перешел через Сену и теперь перехожу почти каждый вечер. Подле Лувра, у самой стены дворца, есть каменные скамьи, где по ночам никто не сидит. Я сажусь передохнуть и созерцаю прославленную, неизменную декорацию, но сейчас, в 1907 году, Стефан Пишон, Бриан, Барту (хотя, правда, есть еще Клемансо и Пикар...)[41] — просто лилипуты, резвящиеся среди шекспировских декораций. Я иду по улице Риволи до площади Согласия И там подмостки пусты, антракт: в 1907 году не происходит ничего. Все, что произойдет в будущем, я еще увижу, мне двадцать два года! Я всегда увлекался историей, сам того не зная. В Париже я это понял. Всматриваясь в оба дворца, возведенные Гарбиэлем[42], и в эти статуи, олицетворяющие города Франции, в

---

[40] Примечания: 40

Гюго Виктор (1802 — 1885) — великий французский поэт, прозаик и драматург, одна из главных фигур французского романтизма. Член Французской академии.

[41] Примечания: 41

Французские политические и государственные деятели периода Третьей республики.

[42] Примечания: 42

Габриэль Жак-Анж (1698 — 1782) — французский королевский архитектор; президент Академии архитектуры. Один из основоположников архитектурного классицизма XVIII века.

Страсбург с его венками и вылинявшими знаменами, я думаю о том, что зреет в этой Лилипутии 1907 года и что мне будет суждено увидеть...

Окончательно выбившись из сил, я делаю привал в кафе Вебера, единственном большом кафе, куда я решаюсь заходить, кроме привычных кафе Латинского квартала. От постыдного страха истратить лишний грош, связывавшего меня в Бордо, не осталось и следа. Я заказываю дюжину устриц и полбутылки «мумма». Не знаю, какой у меня при этом вид, на кого я похож, за кого меня принимают. Но, говоря по совести, вряд ли я зашел бы еще хоть раз к Веберу, если бы не пара, которую я встретил там в первый же вечер и встречаю теперь каждый раз. Первой является старуха. У нее волосы с проседью, подстриженные, как у Жанны д'Арк. Да, старая Жанна д'Арк — вот на кого она похожа. Ей подают холодное мясо по-английски и кружку пива. Она курит, не сводя глаз с входной двери. Молодая появляется ближе к полуночи, у нее усталый вид, она голодна: интересно, после какой работы она приходит сюда? На Жанну д'Арк похожа и эта, но у нее белокурые волосы и она в возрасте Жанны д'Арк. Когда я увидел ее во второй раз, она посмотрела на меня, она меня узнала. Старуха наблюдала за

ней в зеркало.

Домой я возвращаюсь в омнибусе на резиновых шинах, отыскав по цвету фонарей тот, что идет на улицу Вожирар.

Иногда в ненастную погоду я не иду дальше кафе, расположенных на бульваре Сен-Мишель. Я избегаю только кафе Арку из-за вечно толкущихся там жалких, назойливых и гнусавых проституток. В такие вечера я попадаю во власть своей навязчивой идеи. Тайна зла, являвшегося для меня лишь одним из аспектов духа, раскрывается передо мной воочию. Зверь, набросившийся на маленькую Серис в лесу у мельницы господина Лапейра, бродит, кажется мне, повсюду, но здесь за каждым чудовищем злобно следят другие, и оно мечется, сбросив маску, и все видят его безумные глаза и этот гнусный рот, который надо прятать от всех.

Я еще не решаюсь добраться до Монмартра. Латинский квартал и его фауна мне уже привычны, у меня тут есть знакомые, но Монмартр внушает мне страх. Я немало слышал о нем в «Таверне Пантеона», где всегда много народу, где любой может обратиться к вам с вопросом. Я отвечаю охотно, ведь я — никто.

Я ложусь около двух часов ночи и погружаюсь в

глубокий сон, которого не знал в Мальтаверне, где петухи будили меня на заре. В Париже я выплываю на поверхность, когда рабочий люд трудится уже несколько часов. Слишком поздно, чтобы идти к утренней мессе, разве что в воскресенье. В полдень я завтракаю вместе с другими студентами, живущими в гостинице, — единственное время дня, когда я разговариваю с себе подобными, с людьми, которые знают мою фамилию и имя, знают, из какой провинции устремился я в Париж, которые ненавидят или боготворят Морраса[43], а мне настолько безразличны, что я их просто не замечаю.

Потом я снова брожу по городу, но после полудня привалами для меня служат церкви, хотя мой дневной путь не отличается от ночного: во всем, что видели мои глаза ночью, я спрашиваю у тебя отчета, господи. Я начинаю всегда с церкви Сен-Сюльпис, к ней я пробираюсь по узкой улочке Феру, где жил студентом мой отец в последний год Империи. Внутри церкви мой маршрут тоже неизменен: я сажусь справа от

[43] Примечания: 43

Моррас Шарль (1868 — 1945) — французский публицист, критик, поэт. Член Французской Академии. Один из представителей воинствующего национализма.

входа перед фреской Делакруа[44]. Я чувствую себя одновременно и Иаковом и ангелом, я сам в смертельной схватке с самим собой. У меня рассеянный вид, но нет, я тверд и упорен, я требую ответа, сидя позади главного алтаря перед Святой Девой Пигаля — Донзак терпеть ее не может, а я люблю. Я остаюсь там долго, сколько могу выдержать, потом выхожу на улицу Сервандони. Добравшись до набережной, я поднимаюсь вдоль Сены до Собора Парижской богоматери. Я ныряю в него, словно погружаюсь на самое дно, как в церкви Сент-Андре в Бордо, но попадаю во власть бушевавшей здесь человеческой истории, и она заслоняет от меня бога.

Иной раз я просыпаюсь еще до рассвета. По торцовой мостовой шуршат колеса запоздалого фиакра. Мне кажется, что ничто не может случиться со мной в этом мире, что больше ничего со мной не случится, все выпито до капли, съедено до крошки, и та ночь на балконе Мальтаверна рядом с Мари, которая меня любила, — это все, что было мне отпущено. Я — нищий, уже получивший подаяние, и нечего мне больше ждать ни

[44] Примечания: 44

Делакруа Эжен (1798—1863) — французский живописец и график, предводитель романтического направления в европейской живописи.

от кого — даже горя, потому что и свою долю горя я получил в тот день, когда маленькая девочка бежала передо мной по дороге от мельницы господина Лапейра, а потом сухой сучок хрустнул у меня под ногой и она оглянулась.

И все-таки кое-что случилось, но это такая малость, что я даже не знаю, стоит ли об этом писать. Вчера вечером старая Жанна д'Арк не появилась у Вебера: может быть, заболела. Я думал, что молодая тоже не придет, однако же все время поглядывал на дверь. Она вошла в обычный свой час, села за столик, долго изучала меню, словно не зная, что все равно закажет мясо по-английски, потом подняла глаза, посмотрела на меня и улыбнулась.